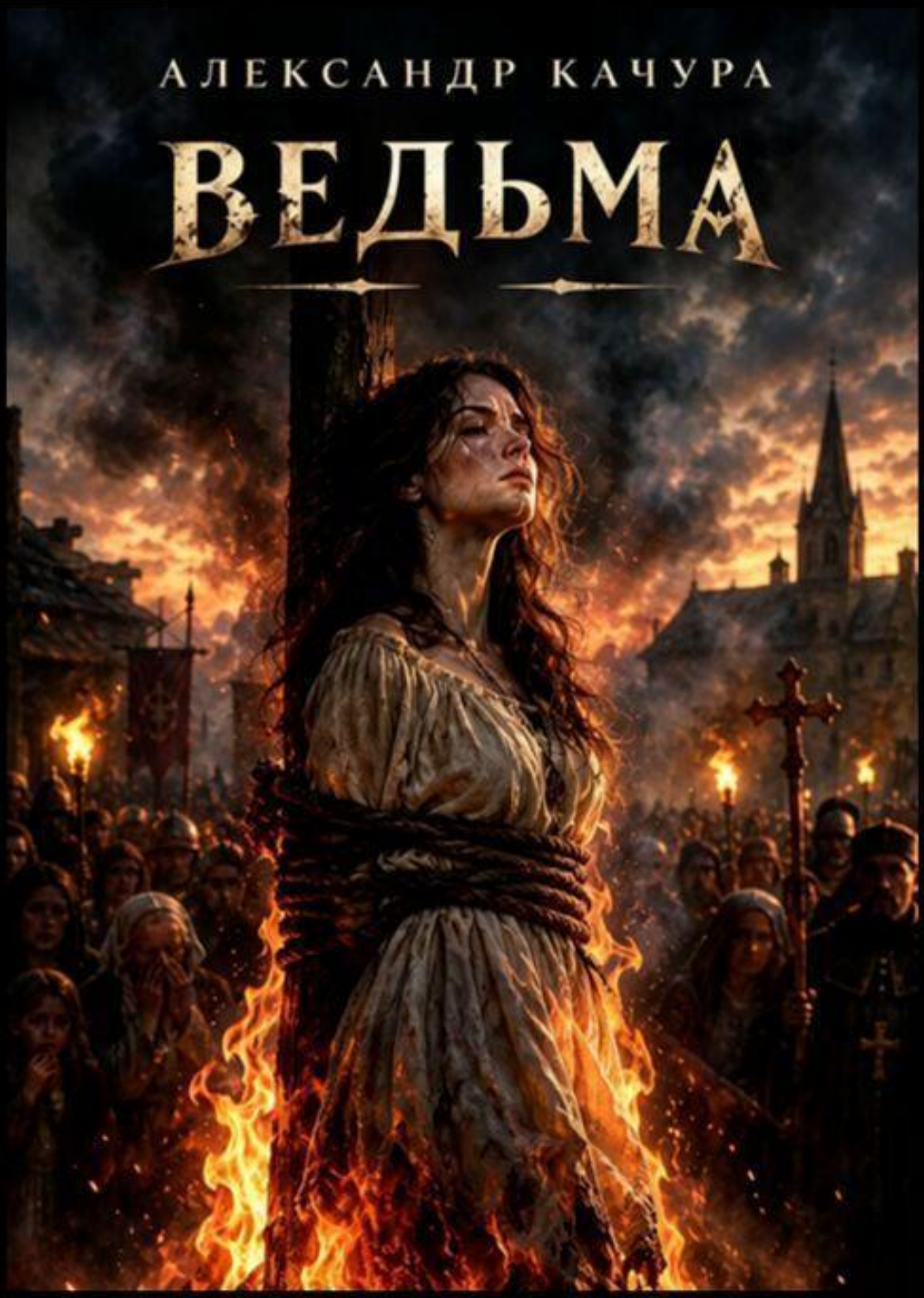
18+



Александр Качура

Ведьма

«Издательские решения»

Качура А.

Ведьма / А. Качура — «Издательские решения»,

Тридцать лет назад город на холме обвинил целительницу в колдовстве, убил её семью, а саму сжёг на костре. Назвал себя спасителем, а её — чудовищем. Запретил вспоминать, поставил памятник лжи и решил, что прошлое исчезло. Но память не сгорает. Корни старого дуба сохранили её. И теперь она возвращается — не для мести, а чтобы каждый вспомнил, что сделал. Не огнём ответит — правдой. Не уничтожит — откроет глаза. Лес не мстит. Он просто помнит. И ждёт, пока люди сами скажут: «Мы были не правы».

© Качура А.
© Издательские решения

Содержание

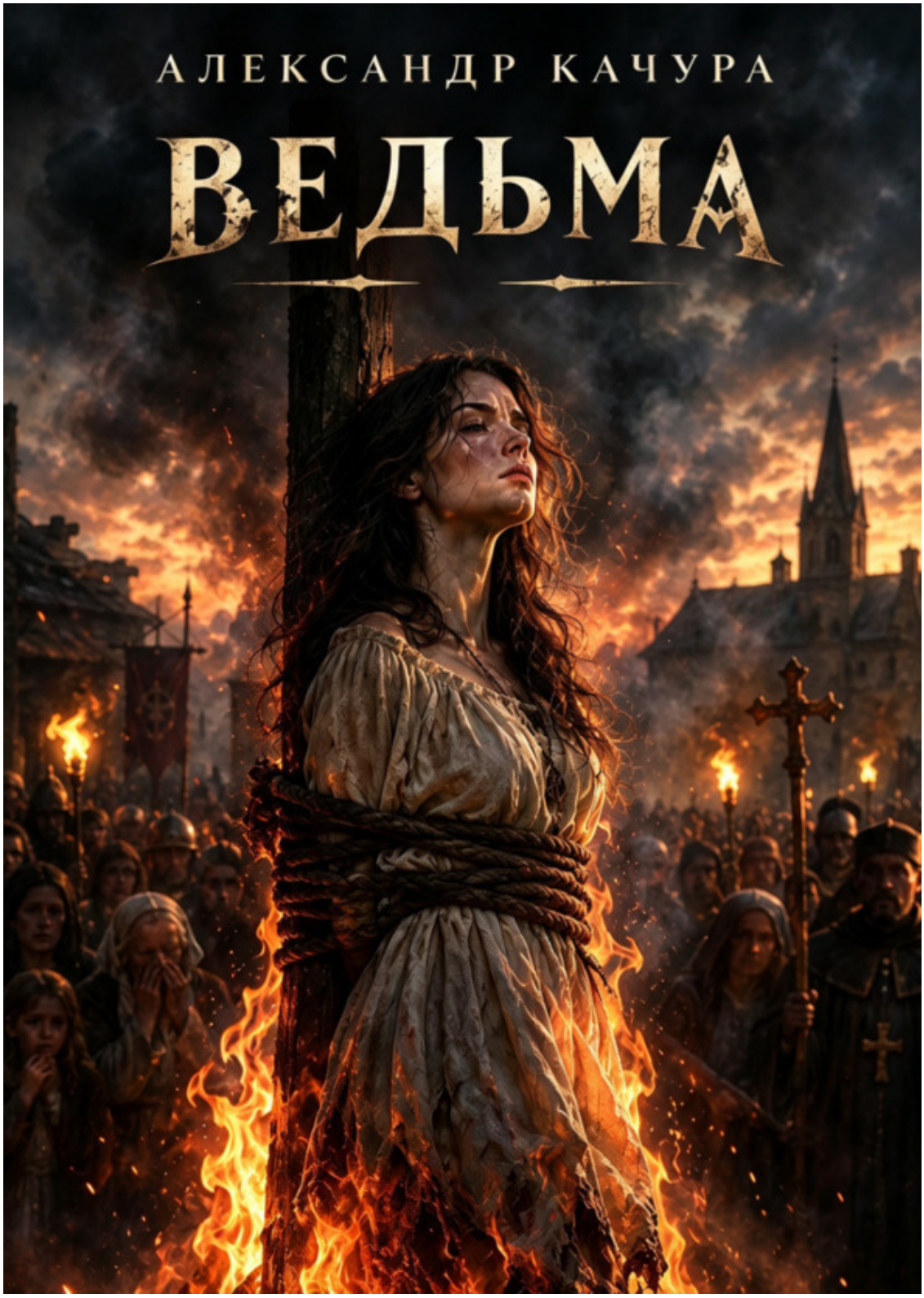
ВЕДЬМА 7
ПРОЛОГ 7
ГЛАВА 1. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 17
ГЛАВА 2. ШЁПОТ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ 34
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Ведьма

Александр Качура

© Александр Качура, 2026

ISBN 978-5-0071-5208-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero


АЛЕКСАНДР КАЧУРА
ВЕДЬМА

ВЕДЬМА

ПРОЛОГ

Тепло держало её со всех сторон — живое, дышащее, настоящее. Слева муж, его рука на её животе, тяжёлая, знакомая, каждая мозолина на ладони была ей известна до последней черты. Справа дочка прижалась к боку, её маленькая грудь поднималась и опускалась в такт с дыханием матери. У самого плеча — младший. Он всегда забирался под бок к утру, будто боялся, что она исчезнет, пока он спит. Пальцы — маленькие, цепкие — сжимали её руку даже во сне.

Просыпаться не хотелось. Не хотелось, чтобы это утро заканчивалось. Солнечный свет пробивался сквозь щели в стене, падал на лицо тёплыми золотыми лучами, и она чувствовала их кожей — каждым нервом, каждой клеткой. За окном стояло лето — трава мокрая от росы, птицы уже пели, лес зеленел, живой, дышащий. Хотелось остаться здесь, в этой утренней тишине, в этом запахе мёда и трав, в этой жизни — такой хрупкой, такой настоящей.

— Мама.

Голос — почти у самого уха.

Марта не открыла глаз. Притворялась, что спит, чтобы продлить этот момент, сделать его бесконечным.

— Я сплю, — прошептала она хрипло. — Меня нет.

— А я знаю, что ты не спишь.

Улыбнулась — почувствовав его улыбку в голосе. Открыла глаза.

Над ней — мальчишеское лицо. Десять лет, глаза серьёзные, почти взрослые. Он стоял на коленях рядом с кроватью, уже одетый, готовый к дню. Волосы взлохмачены, на щеке краснел свежий след от подушки. Марта протянула руку, коснулась его лица — кожа под ладонью была тёплой, живой.

— Ты чего не спишь? — приподнялась на локте, матрас скрипнул. — Солнце ещё не встало.

— Я не могу спать, — в голосе появилась та серьёзность, которая бывает у детей, когда они хотят сказать что-то важное. — Я смотрел в окно.

Внутри что-то сжалось. Не страх. Не холод. Просто предчувствие, которому не было названия.

— И что ты там увидел?

Он помолчал. Глаза стали ещё серьёзнее. В них мелькнул страх — маленький, спрятанный глубоко, но она уловила его, материнским чутьём.

— Ворону, — сказал он наконец. — Чёрную. Она сидела на калитке, смотрела на дом долго, а потом улетела в лес.

— Вороны просто ищут еду, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Или сплетничают о соседях. Ты же знаешь, какие они болтливые.

Он не улыбнулся. В его глазах оставалось что-то, что она не могла прочитать.

— Она смотрела на меня, — сказал он тихо. — Долго. А когда улетела, лес затих. Птицы перестали петь. Ветер стих.

Марта села, положила ладонь на его колено — тёплое, ещё хранящее сон, — и почувствовала, как бьётся его пульс. Погладила по голове, чувствуя, как волосы путаются в пальцах.

— Всё хорошо, — сказала она. — Со мной лес. Он защищает нас. Ты же знаешь.

Он кивнул, но в глазах осталось что-то. Марта обняла его, прижала к себе — он пах утром, росой, деревом, сном. Почувствовала, как его плечи немного расслабляются от её прикосновения.

— Всё будет хорошо, — прошептала она. — Я обещаю.

Рядом заворочался младший. Его рука нащупала её руку, сжала. Он притянул её к себе, уткнулся носом в плечо, ещё не проснувшись.

— Мама, — пробормотал он сквозь сон. — Ты не уходи сегодня. Останься.

— Я ненадолго, — она гладила его по светлым волосам. — Соберу травы и вернусь.

— Я не хочу.

— Я скоро, — сказала она. — Ты же знаешь, я всегда возвращаюсь.

Он не ответил. Уже снова спал. Рука расслабилась, дыхание стало ровным. Марта смотрела на него — на спокойное детское лицо, на то, как доверчиво он прижимается к ней, — и чувствовала, как сердце наполняется теплом.

Взгляд скользнул в окно. Лес стоял зелёный, тихий, живой. Тени двигались между стволами. Роса блестела на листьях. Солнце ещё не поднялось высоко, но уже золотило верхушки деревьев.

Всё было как всегда.

Но внутри засело что-то. Смутное, безымянное. Она смотрела на мужа, на его спокойное лицо во сне, на детей, на их тёплые тела, на их дыхание, на их жизнь.

Она хотела запомнить этот момент навсегда.

Марта вышла на крыльцо босиком. Ступени встретили холодом — каждая доска, каждая щель отдавалась в подошвах, пробивающаяся сквозь щели трава касалась кожи. Шла медленно, ступала осторожно — не потому что боялась упасть, а потому что хотела чувствовать: каждое прикосновение, каждое ощущение, каждую секунду этого утра.

Остановилась на нижней ступеньке. Трава коснулась ступней — мокрая, холодная, капли блестели на кончиках травинок, переливались на солнце. Сжала пальцы ног, вдавливаясь в землю, чувствуя, как влага просачивается сквозь кожу.

Закрыла глаза. Вдохнула.

Запахи врывались в неё — влажная земля, густая, живая, тяжелая; прелая листва; цветущий шиповник за домом, сладкий и тягучий; мёд из ульев, она чувствовала его даже отсюда; сырое дерево, нагретое солнцем. Лес дышал вместе с ней. Лёгкие наполнялись этим утром, этой жизнью, этим теплом.

Сделала шаг. Медленно. Пошла к старой яблоне. Знала этот путь, проходила его тысячу раз — каждую кочку, каждый корень, каждую травинку. И теперь, когда шла по нему, всё было как всегда — и в то же время как в первый раз.

Положила ладонь на кору яблони. Шершавая, тёплая, живая. Под корой двигался сок, дерево просыпалось, тянулось к солнцу, к теплу, к жизни. Яблоня отвечала ей — листья шелестели в знак приветствия. На ветке, прямо у лица, распускался бутон — белый, нежный, пахнущий мёдом. Марта коснулась его пальцами — мягкий, прохладный, жизнь текла по лепесткам под её прикосновением.

— Здравствуй, — прошептала она.

Яблоня вздрогнула в ответ.

Опустилась на колени. Земля холодная, влажная — влага просачивалась сквозь кожу, трава щекотала колени. Положила ладони на землю — широко, всей ладонью, чувствуя, как она дышит под ней. Тепло поднималось из глубины, миллионы корней шевелились под пальцами, миллионы существ просыпались и жили — черви, жуки, семена, спавшие в темноте и ожидающие своего часа. Пульс земли — тихое, глухое биение — поднимался по рукам, по плечам, по позвоночнику, разливался внутри.

— Благословляю тебя, земля, — слова рождались где-то внутри, проходили через горло, через язык, через губы. — Ты даёшь нам жизнь. Ты даёшь нам пищу. Ты даёшь нам дом.

Земля отвечала ей. Тепло разливалось по ладоням, поднималось выше, заполняло грудь.

— Благословляю тебя, лес, — продолжала она. — Ты защищаешь нас. Ты помнишь нас. Ты ждёшь нас.

Лес отвечал — шёпотом листьев, треском веток, пением птиц. Она подняла голову, смотря на деревья, на тысячи стволов, тысячи корней, тысячи ветвей, простиравшихся к небу, к солнцу, к жизни. Они смотрели на неё. Знали её. Помнили её шаги.

— Ты добр ко мне, — улыбнулась она. — Спасибо.

Встала.

Птицы слетались к ней. Первая — маленькая синица — села на плечо, тронула клювом ухо, защебетала коротко и звонко. Маленькие коготки впились в кожу — легко, не больно. Марта засмеялась. Птицы кружили над ней, садились на руки, на плечи — не боялись, знали её. Чувствовала их тепло, их лёгкость, их жизнь.

Из дома вышел муж. Остановился на пороге, прислонился плечом к дверному косяку, скрестил руки на груди. Смотрел на неё — просто смотрел, как смотрят на что-то дорогое, хрупкое, своё. Марта обернулась, чувствуя его взгляд — тёплый, как солнечный свет.

— Ты так и будешь стоять? — улыбнулась она. — Или обнимешь меня?

Он подошёл, обнял сзади, положил подбородок на её плечо. Дыхание на шее — тёплое, ровное, живое. Пахло от него деревом, дымом, утренним сном.

— Ты красивая, — голос его был таким знакомым, таким родным. — Каждое утро я просыпаюсь и думаю: как мне повезло?

Она положила ладони поверх его рук, чувствуя его пальцы — сильные, грубые, родные. Он поцеловал её в висок — медленно, тепло. Губы на коже — и она не хотела, чтобы он отстранялся.

— Ты сегодня в лес? — спросил он.

— Да, — ответила она. — Сын кузнеца при смерти. Лихорадка. Если не найду корень, умрёт.

— Я знаю. Я всегда знаю, когда тебе нужно идти.

— Я быстро, — пообещала она. — Я вернусь.

— Я знаю, — сказал он. — Ты всегда возвращаешься.

Повернулась в его руках, смотря ему в глаза — серые, тёплые, с морщинками в уголках. Он поцеловал её — долго, медленно, тепло. Закрыла глаза, чувствуя только его губы, его руки, его запах. Не хотела отпускать.

Но должна была.

— Мне пора, — сказала она. — Чем раньше уйду, тем раньше вернусь.

Отстранилась. Посмотрела на лес — деревья уже золотились в утреннем солнце. Сделала шаг. Второй.

Лес принимал её.

Марта стояла на пороге. В руке — тяжёлая корзина, плетёная из ивы, на дне которой лежали нож, мешочки, хлеб, сыр, яблоки. Проверила — всё на месте. Но на неё смотрели. Взгляды детей — тяжёлые, влажные от слёз.

Младший стоял у ног. Глаза красные, слёзы ещё не высохли на щеках. Марта опустилась перед ним на колени, коснулась его лица. Ладонь стала мокрой.

— Что ты, маленький? — спросила она мягко. — Ты чего плачешь?

— Ты уходишь, — голос дрожал. — Ты всегда уходишь.

— Я ненадолго, — она гладила его по голове, чувствуя мягкие волосы, путающиеся в пальцах. — Соберу травы и вернусь. Ты даже не заметишь.

— Я замечу, — сказал он. — Когда тебя нет, дом пустой. Тихий. Я не люблю, когда тихо. В тишине страшно.

Она притянула его к себе, обняла. Пахло от него потом, молоком, сном. Маленькое сердце билось быстро, живо, настоящее. Слёзы на её шее — горячие, влажные. Не хотела отпускать.

— А ты не дай ему быть тихим, — голос дрогнул, но она заставила себя улыбнуться. — Бегай, шуми, смейся. Пока меня нет.

— Я не хочу бегать. Я хочу, чтобы ты была здесь.

— Я скоро, — сказала она. — Обещаю. И принесу тебе сладкий корень. Ты любишь сладкий корень?

Он шмыгнул носом, улыбаясь сквозь слёзы — криво, по-детски.

— Люблю.

— Вот видишь, — сказала она. — Я принесу. А ты пока побегай. Посмотри, не залез ли кто в курятник. Ты же у меня главный по курятнику?

— Главный, — голос уже звучал твёрже.

Подошла дочка. Маленькая, светлая, как солнце. Протянула деревянную фигурку, грубо вырезанную старшим сыном — то ли птица, то ли зверь. Марта знала: дочка любит её больше всего на свете.

— Возьми, мама, — сказала дочка. — Она принесёт тебе удачу.

Марта смотрела на фигурку, потом на дочку — на светлые волосы, на серьёзные глаза, на маленькие руки, которые держали фигурку так бережно, будто она была живой.

— Это твоё, — сказала Марта. — Она должна быть с тобой.

— Нет, — покачала головой дочка. — Она должна быть с тобой. Чтобы ты вернулась быстрее. И чтобы лес был добрым к тебе.

Марта взяла фигурку. Тёплая, гладкая, отполированная детскими руками, пахнущая деревом и молоком. Спрятала в карман, у самого сердца.

— Спасибо, — сказала она. — Я возьму её. И вернусь. Я обещаю.

Подошёл старший сын. Прямой, плечи расправлены, глаза серьёзные. Смотрел на неё как взрослый. Марта подошла к нему — он был почти уже такого же высокого, как её плечо.

— Ты присмотришь за ними, — сказала она. — Пока меня нет.

Он кивнул. В голосе не было детской неуверенности.

— Я защищу их, мама, — сказал он. — Обещаю.

Она положила руку на его плечо, чувствуя его тепло, и обняла. Он обнял в ответ — крепко, по-взрослому. Сердце билось ровно, сильно, уверенно.

— Мама, — сказал он тихо, и голос дрогнул — всего на мгновение, но она услышала. — Ты возвращайся. Хорошо? Возвращайся.

— Я всегда возвращаюсь, — сказала она. — Ты же знаешь.

Отстранилась. Посмотрела на всех — на мужа, стоящего в дверях и улыбающегося, на младшего, держащего за руку дочку, на дочку, машущую ей, на старшего, смотрящего на лес с настороженностью, но без страха. Хотела запомнить этот момент — как они стоят на пороге, как солнце освещает их лица, как она смотрит на них и чувствует, что они — вся её жизнь.

— Я скоро, — сказала она. — Я всегда возвращаюсь.

Повернулась и пошла к лесу. Не оборачиваясь. Но слыша за спиной голоса — младший что-то шептал, дочка смеялась, муж говорил что-то негромко, успокаивающе. Шаг за шагом.

Лес принимал её.

Марта шла по лесу босиком. Земля под ногами была живой — прохладной, влажной, упругой. Каждая кочка, каждый корень, каждая мягкая подушка мха отдавались в ступнях. Она вдавливалась в неё пальцами ног, чувствуя, как она поддаётся под весом, как дышит под ней. Шла медленно, не спеша — каждый шаг был разговором с этим лесом, который она знала

как себя. Каждый камень, каждая коряга, каждый куст — где растёт мята, где зверобой, где ромашка, где спит барсук, где гнездится сова.

Ветви раздвигались перед ней, пропуская вперёд. Марта гладила их в ответ — чувствуя тёплую шершавую кору, их жизнь, их приветствие. Лес говорил с ней — не словами, но тем особым знанием, которое было глубже слов.

— Я пришла, — говорила она, и тепло поднималось из глубины земли, корни касались её ступней, лодыжек, здороваясь с ней.

«Ты пришла», — говорила земля, принимая её, держа, дыша под ней.

— Я пришла, — шептала она, и ветер касался лица — холодный, свежий, живой, проносящийся сквозь волосы, сквозь платье, несущий запах травы, земли, жизни.

«Ты пришла», — шептал ветер, обнимая её, говоря, что она дома.

Остановилась у старого дуба. Огромного, раскидистого, ствол в три обхвата, корни уходили глубоко в землю, выступали наружу — как руки, как пальцы, как объятия. Положила ладонь на кору — шершавую, грубую, покрытую мхом. Под корой текла жизнь, сок поднимался по стволу, дерево дышало.

— Здравствуй, старый, — сказала она. — Как ты?

Дуб молчал, но она слышала его — он говорил покоем, теплом, тишиной. Говорил, что всё хорошо, что она здесь, что она дома. Марта прислонилась щекой к коре, закрыла глаза и стояла так — чувствуя его, чувствуя себя частью леса.

— Я ищу корень, — сказала она. — Тот, что растёт у старого пня. Ты помнишь его.

Дуб чуть колыхнулся, ветви зашелестели. Она слышала ответ: «Там. Иди. Я покажу».

— Спасибо, — сказала она, открывая глаза, и пошла дальше — туда, где трава была выше, деревья гуще, где солнечные лучи падали на землю редкими золотыми пятнами.

Нашла ручей — маленький, звонкий, текущий между камнями, пробивающийся сквозь корни. Опустилась на колени, зачерпнула ладонями холодную прозрачную воду. Она текла сквозь пальцы, капала на платье. Марта пила — вода текла по подбородку, по шее, заполняла её, омывала изнутри.

«Ты хорошо спала?» — спросил ручей.

— Хорошо, — ответила она. — Мне снились дети.

«Они хорошие, — сказал ручей. — Ты хорошая мать».

Улыбнулась, чувствуя, как сердце наполняется теплом.

— Я знаю, — сказала она, и встала, чувствуя, как земля принимает её вес.

Шла дальше. Заяц выбежал на тропинку, остановился, посмотрел на неё. Марта прошла мимо — не боясь его, как он не боялся её. Белка спустилась с дерева, села на пенёк, коснулась руки маленькой тёплой лапкой. Марта погладила её по голове.

— Иди, — сказала она. — Я не обижу тебя.

Нашла старый пень — огромный, трухлявый, поросший мхом. Рядом с ним росла высокая густая трава. Опустилась на колени, земля поддалась под весом, приняла её. Положила ладони на землю, чувствуя пульс жизни под пальцами — тысячи существ, тысячи корней, тысячи жизней. Раздвинула траву.

Корень лежал перед ней — маленький, неприметный, коричневый, узловатый. Если не знать — пройдёшь мимо. Но она знала. Чувствовала его силу. Чувствовала, как он тянется к ней.

— Я не причиню тебе вреда, — сказала она, касаясь земли вокруг корня пальцами, медленно, осторожно. — Я просто возьму часть тебя, чтобы спасти жизнь.

Начала копать. Пальцы работали осторожно, аккуратно. Земля скользила между ними, пахнущая прелью и жизнью, тёплая, влажная, живая. Задержалась у этого пня на час, может быть, на два. Собирала корни, шептала обряды, благословляла каждое растение. Чувствовала, как они отвечают ей теплом, покоем, согласием: «Мы отдаём тебе себя, спаси другую жизнь».

Она не знала, что уже наступила тень.

Марта подняла голову.

Что-то изменилось. Воздух стал тяжёлым, он не входил в лёгкие, застревал в горле. Лес стоял на месте — тени неподвижны, солнечные лучи застыли на мху, птицы замолкли. Тишина давила на уши, заполняла пространство. Пальцы ног холодели, холод поднимался выше — по ступням, по лодыжкам. Мурашки побежали по коже.

Она прижала ладони к груди, чувствуя, как бьётся сердце — глухо, сильно, тяжело. Прошептала:

— Что? Что случилось?

Лес молчал.

И вдруг — крик. Марта вздрогнула. Крик пришёл издалека, со стороны дома. Она не узнала голос, но узнала тон — ужас, животный, нечеловеческий ужас. Стояла, не двигаясь, слыша, как сердце колотится в ушах.

— Нет, — прошептала она. — Нет, нет, нет.

Второй крик — женский или детский, она не разбирала, — пронзил её насквозь. Вошёл в грудь, в живот, в лёгкие. Она побежала. Спотыкалась о корни, падала, трава раздирала колени, но она не чувствовала боли. Вставала, бежала снова.

Вылетела на опушку и увидела дым.

Марта выбежала из леса. Не помнила, как бежала, не помнила, как ветки хлестали по лицу, оставляя царапины, как корни цеплялись за ноги, как падала и снова вставала. Помнила только одно — запах. Горелое дерево, густой, жирный, он заполнял лёгкие, оседал на языке, на зубах, делал воздух тяжёлым и липким.

Вылетела на опушку и остановилась. Ноги подкосились, она упала на колени в жёсткую сухую траву, не чувствуя боли. Дым поднимался над домом — чёрный, густой, он шёл не из трубы, а оттуда, где стоял костёр. Там, где она вчера варила ужин, где они сидели все вместе. Марта смотрела на небо — серое, дым смешивался с облаками, солнца не было видно.

Пыталась вдохнуть — воздух не шёл. Горло сжалось. Она хватала ртом, как рыба, выброшенная на берег, чувствуя боль в груди. Не зная, от чего она — от бега, от страха, от того, что она уже знала, но не хотела признаваться себе.

Встала на трясущихся ногах. Сделала шаг, второй, третий. Побежала снова — по полю, трава хлестала по ногам, земля твёрдая и сухая под ступнями.

Она видела дом. Крыша, стены, всё на месте, всё как всегда. Но перед ним стояли люди. Много людей. Тёмные неподвижные фигуры у дуба, у калитки, у костра. Марта замедлилась. Сердце колотилось так, что казалось, выскочит из груди — каждый удар отдавался в висках, в пальцах, в каждом нерве тела.

Смотрела на дуб. Тот самый, под которым они целовались, под которым он сделал ей предложение, под которым они закопали последыши их детей. И на дубе висел он. Её муж.

Марта остановилась.

Смотрела на него и не узнавала. Секунду. Может, две. Смотрела на чужого человека, висящего на суку — на его лицо, на его глаза, на его тело, — и не понимала, кто это. Потому что её муж не мог так выглядеть. Её муж был живым, тёплым, он улыбался ей каждое утро, обнимал её, пах деревом и дымом.

Этот человек был мёртвым.

И тогда она узнала его.

Боль пришла не сразу. Сначала — пустота. Потом — понимание. И когда поняла — воздух вырвался из лёгких, как будто кто-то ударил в грудь.

Он висел на суку, верёвка врезалась в шею, голова набок, тело качалось — медленно, почти незаметно, как маятник. Глаза открыты — пустые, стеклянные, мёртвые. Она видела его лицо, каждую морщинку, каждую родинку, но это было лицо мёртвого человека.

Марта упала на колени. Трава врезалась в ладони, кожа треснула, но она не почувствовала боли. Поползла к нему, к его ногам, к пальцам, которые знала лучше своих. Коснулась их — и отшатнулась. Холодные. Такие холодные, что обжигали.

Прижалась лицом к его ногам, чувствуя его холод, его смерть. Он пах деревом — тем же деревом, что и утром, когда обнимал её, когда целовал, когда строил этот дом для них. Но теперь этот запах был мёртвым. Как он сам.

Подняла голову, смотря на его лицо — близкое, родное, такое знакомое. Но он не смотрел на неё. Его глаза смотрели сквозь неё, в пустоту.

— Я не успела, — голос дрожал. — Я не успела сказать тебе, что люблю тебя.

Ждала. Ждала, что он ответит, что моргнёт, улыбнётся, скажет: «Я знаю, глупая, я всегда знал». Но он молчал. Внутри неё что-то рвалось — тонкая тёплая нить, что связывала её с ним, обрывалась с хрустом.

— Ты знал? — голос ломался. — Ты знал, что я люблю тебя? Больше всего на свете?

Он молчал.

Марта прижалась лбом к его коленям, закрыла глаза. Слёзы текли по лицу. Она плакала, держа его ноги, не зная, как долго она так сидит — минуту, час. Не хотела отпускать его. Хотела, чтобы он ожил.

Но он не ожил.

Где-то за спиной смеялись — чужой, грубый, пьяный смех. Она не оборачивалась. Ей было всё равно.

Марта встала на дрожащих ногах. Пошла, обходя дом. Медленно, каждый шаг давался через силу. Не хотела идти туда. Знала, что увидит. Чувствовала это грудью, кожей, тем местом внутри, где когда-то была жизнь.

Завернула за угол — и увидела костёр. Большой, горячий, языки пламени лизали небо, трещали дрова, жар бил в лицо. Она смотрела в огонь. В нём лежали два маленьких тела — обгоревшие, чёрные.

Марта упала на колени. Не чувствовала жара. Смотрела на них — на то, что осталось от её мальчиков. Старший лежал поверх младшего, прикрывая его собой, руки раскинуты. Он пытался защитить его. Он обещал.

«Я защищу их, мама. Обещаю».

Голос — чёткий, ясный, как будто он стоял рядом. Он сдержал обещание.

Младший сжимал что-то в руке — маленькое, обгоревшее, чёрное. Она узнала. Фигурка. Та, которую вырезал старший. Та, которую она видела утром. Та, которую дочка отдала ей «на счастье».

Марта протянула руку в огонь. Сначала — ни боли. Пламя касалось пальцев, кожа чернела, трескалась, но она не чувствовала ничего. Схватила фигурку — и вытащила.

Тогда боль пришла.

Посмотрела на свою руку — обгоревшую, чёрную, с лопнувшей кожей, из которой сочилась кровь. Это была её рука. Она не узнавала её.

Смотрела на фигурку — обгоревшую, чёрную, но целую. Сжимала её в здоровой руке так, что пальцы немели. Слёзы катились по лицу, падали на фигурку. Шептала:

— Я не смогла защитить вас. Я обещала, что вернусь. Я вернулась. Но я не успела. Простите меня. Простите меня, мои мальчики.

Прижала фигурку к груди — туда, где раньше билось сердце. И чувствовала, как оно бьётся — но оно было другим. Болело, разрывалось на части. Каждый удар — как нож. Кровь стыла в жилах, холод разливался внутри — как будто кто-то вылил в неё ледяную воду.

Сидела на коленях перед костром, смотря на пепел, на обгоревшие тела, на то, что осталось от её сыновей. И чувствовала, как внутри неё что-то ломается. Не сердце. Что-то другое. То, что держало её на земле. То, что делало её человеком.

Оно ломалось медленно, с хрустом, как сухая ветка.

да

Марта повернулась. Не знала зачем — просто повернулась.

И увидела крест.

Сколоченный из досок, кривой, грубый, с торчащими гвоздями и свисающими верёвками. На нём висела дочка. Привязанная. Руки раскинуты, ноги прикручены, голова опущена, светлые волосы закрывали лицо.

Марта побежала. Ноги не слушались — спотыкалась, падала, колени врезались в землю. Не чувствовала ничего. Только крик, застрявший в груди. Хватала верёвки, рвала их. Пальцы кровоточили — она не чувствовала.

Снимала дочку с креста. Падала на землю вместе с ней. Прижимала к груди.

И тогда увидела следы на её коже. Глубокие, красные — верёвки впились в тонкие руки, в ноги, оставляя кровавые полосы. Марта гладила их, хотела, чтобы они исчезли. Но они не исчезали. Оставались.

— Мама… — голос тонкий, слабый, как ниточка. Как последний лучик света, который гаснет.

— Я здесь, — голос был чужим, хриплым, ломаным. — Я здесь, маленькая. Я пришла. Я здесь.

Гладила дочку по голове — чувствуя спутанные, грязные волосы. Помнила, какими они были утром — шёлковыми, тёплыми, когда она расчёсывала их, и дочка улыбалась.

— Я видела всё, — прошептала дочка. — Я не могла закрыть глаза. Они заставили меня смотреть. Я видела, как они вешали папу. Я видела, как они бросили братьев в огонь. Я всё видела.

— Не говори, — Марта чувствовала, как слёзы текут по лицу — горячие, обжигающие. — Не говори. Я здесь. Я с тобой.

— Я хочу к папе, — прошептала дочка. — Я хочу к братьям. Они зовут меня. Они сказали, что я должна идти. Что там тепло. Что там не больно.

— Нет, — качала головой, не в силах остановиться. — Только не ты. Пожалуйста. Только не ты. Я не переживу. Я не переживу, если ты тоже уйдёшь. Останься. Пожалуйста. Останься со мной.

Дочка улыбнулась. Тонкой, слабой улыбкой — от которой сердце разрывалось на части.

— Я люблю тебя, мама, — прошептала она. — Ты самая лучшая мама на свете.

Марта почувствовала, как жизнь уходит из дочки. Как тело становится легче — будто что-то выходило из неё. Тёплое, светлое, живое. Душа уходила. Покидала это маленькое тело. И она не могла остановить это.

— Нет, — прошептала она. — Нет, нет, нет.

Дочка закрыла глаза. Руки обмякли. Дыхание остановилось.

Марта держала её — холодную, лёгкую, как листок. Не верила. Не хотела верить. Видела утро — как дочка подходит к ней, протягивает фигурку: «Возьми, мама, она принесёт тебе удачу», как улыбается, как обнимает её на прощание.

А теперь держала её мёртвую, холодную.

Сжимала так крепко, что хотела вернуть её обратно — в своё тело, в свою кровь, в свою жизнь.

Но она не возвращалась.

Марта не знала, сколько прошло времени. Сидела на земле, держа дочку в руках. Холод мёртвого тела проникал в неё, становился частью её.

Слышала шаги. Кто-то подходил.

— Хватайте её, — сказал голос. — Она ведьма.

Руки схватили за плечи, рванули назад. Марта не сопротивлялась. Смотрела на дочку — на её лицо, на закрытые глаза, на светлые волосы, которые она расчёсывала сегодня утром.

— Отдай ребёнка, — сказал другой голос.

Не отдавала. Сжимала дочку так, что пальцы белели.

— Отдай, сказано!

Кто-то вырвал дочку из рук. Марта почувствовала, как пустота разливается внутри — будто у неё вырвали сердце. Закричала — пронзительно, дико, нечеловечески:

— НЕТ! НЕ ТРОГАЙТЕ ЕЁ! ОНА МОЯ ДОЧЬ!

Её повалили на землю. Связали руки за спиной. Верёвки впились в запястья — она не чувствовала боли. Смотрела на лица. Запоминала каждое.

Бургомистр — бывший кузнец — руки трясутся, он не смотрит на неё.

Священник — стоит в стороне, прячет глаза.

Инквизитор — в чёрной рясе, с серебряным крестом на груди. Он смотрит на неё. Улыбается.

— Ведьма, — сказал он. — Ты прокляла этот город. Ты прокляла этих людей. Ты заплатишь.

Марта смотрела на него. В глазах не было слёз. Только тьма.

— Я не прокляла никого, — голос был чужим, холодным. — Это вы прокляли себя. Вы убили моих детей. Вы повесили моего мужа. Вы сожжёте меня. И вы думаете, что победили?

— Заткните её, — сказал инквизитор.

Её потащили к костру. Марта сжимала в руке фигурку — обгоревшую, чёрную. Единственное, что осталось от её детей.

Марта стояла на коленях. Руки связаны за спиной. Вокруг — лица, факелы, крики:

— ВЕДЬМА! СОЖГИТЕ ЕЁ! ОНА ПРОКЛЯЛА НАС!

Она не смотрела на них. Смотрела на дуб — там висел муж. На пепел — там лежали сыновья. На крест — там умирала дочка.

Факелы упали на сухие ветки. Огонь вспыхнул. Жар ударил в лицо. Пламя лизало ноги, руки, лицо. Боль пронзала тело — но она не кричала.

— Молись, ведьма! — крикнул кто-то. — Молись богу, чтобы он простил тебя!

Марта подняла голову. Смотрела на небо сквозь дым, сквозь огонь.

— Бог? — прошептала она.

Пламя пожирало кожу. Запах палёного мяса ударил в ноздри. Её тело умирало. Но она продолжала говорить.

— Я молилась ему, когда вы вешали моего мужа. Я молилась ему, когда вы бросали моих сыновей в огонь. Я молилась ему, когда вы привязывали мою дочку к кресту. И он молчал. Он всегда молчал.

Она повернулась к лесу. К старому дубу. К корням, которые тянулись к ней.

— Я больше не буду просить. Я буду брать сама. Я верю только в то, что видела. Я верю в лес. Я верю в корни. Я верю в память.

Она смотрела на бургомистра. На его трясущиеся руки. Голос стал тише — но от этого страшнее.

— Твои руки. Те, что держали факел. Я помню их.

Бургомистр побледнел. Отступил.

Она повернулась к священнику. К его глазам, которые прятались.

— Твои глаза. Те, что смотрели, как мои дети умирают. Я помню их.

Священник закрыл лицо руками.

Она повернулась к инквизитору. К его улыбке. К его серебряному кресту.

— Твой язык. Тот, что кричал «ведьма». Я помню его.

Инквизитор перестал улыбаться.

Пауза. Длинная. Такая, что слышно было, как трещит огонь. Как бьются сердца в толпе. Как кто-то плачет.

— Вы думаете, я умру, — сказала она, и голос её был тихим, сломленным, но в нём слышалась сталь. — Вы думаете, это конец. Но я буду помнить вас. До последнего дня. Я буду помнить ваши руки, ваши глаза, ваши языки. И я вернусь.

Она закрыла глаза. Слёзы текли по обгоревшим щекам.

— Я умираю, но не исчезаю. Я ухожу в корни. Я буду ждать. Я буду расти. И когда вы забудете мой страх — я приду. Я приду за каждым.

Открыла глаза. Посмотрела на инквизитора. В последний раз.

— Ты думаешь, что победил? Ты думаешь, что сжигаешь ведьму? Ты ошибаешься. Ты не сжигаешь ведьму. Ты создаёшь её.

Она улыбнулась. Обгоревшими губами. Чёрными от пепла.

— Я буду твоим проклятием, инквизитор. Я буду твоим судом. Я приду за тобой. Обещаю.

Огонь закрыл её лицо.

Она крикнула в последний раз — и в этом крике не было страха. Только обещание:

— Я ВЕРНУСЬ! Я ОБЕЩАЛА! Я ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЮСЬ!

Земля дрогнула. Сначала — тихо, едва заметно.

Марта почувствовала это сквозь огонь. Сквозь боль. Сквозь смерть. Земля просыпалась. Корни старого дуба шевелились, вырывались из-под земли — живые, как змеи. Тянулись к ней.

— Что это? — кричали люди. — Что происходит?

Она не слышала их. Чувствовала, как корни проникают в огонь, обвивают её обгоревшее, чёрное, почти мёртвое тело. Они не горели. Они тянулись к ней. Звали её.

Чёрная молния ударила из-под корней. Прямо в грудь — туда, где раньше билось сердце. Марта почувствовала, как что-то умирает в ней. И что-то рождается.

Холод разливался внутри. Кровь застывала. Сердце переставало биться.

Она подняла голову. Посмотрела на толпу. На инквизитора. На бургомистра. На священника.

Голос её был чужим. Звучал из глубины, из земли, из корней.

— Я не умерла, — сказала она. — Я только ушла под землю. Я вернусь. Я обещала.

Корни затягивали её вниз. В темноту. В землю. Чувствовала, как земля принимает её, как корни обнимают, как возвращается тепло. Не то — живое, человеческое. Другое. Тёплое, как материнская утроба. Как место, где её ждут.

Сжимала в руке деревянную фигурку. Обгоревшую, чёрную. Единственное, что осталось от её детей. Прижимала к груди — туда, где больше не было сердца.

— Я люблю вас, — прошептала она. Слёзы катились по обгоревшим щекам, падали на землю. — Я никогда не забуду вас. Я никогда не прощу их. Я никогда не остановлюсь.

Земля сомкнулась над ней. Толпа в ужасе разбегалась — кто-то падал, кто-то кричал. Инквизитор стоял на месте, смотря на дуб, на корни, на пепел.

Лес затих. Огонь погас. Остался только чёрный круг на земле. Только пепел. Только дуб.

И тишина.

ГЛАВА 1. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Осень.

Серое небо низко нависало над стенами — тяжёлое, мокрое, готовое пролиться дождём в любую минуту. Ветер гнал по рыночной площади сухие листья; они шуршали по камням, забивались в щели между булыжниками, цеплялись за ноги прохожих. Никто не обращал на них внимания.

Город стоял на холме.

Серые каменные стены — грубые, местами покрытые мхом, местами чёрные от копоти — окружали его со всех сторон. Они поднимались на высоту двух домов. На них день и ночь стояли стражники — молчаливые, настороженные, с факелами в руках. Они смотрели вниз, на лес, который начинался сразу за стенами. Там не было ни огней, ни домов. Только деревья, смыкающиеся в сплошную стену. Только темнота, которая не рассеивалась даже днём.

Лес стоял неподвижно. Ни ветер не шевелил ветви, ни птицы не пели. Он просто стоял и смотрел на город.

Ждал.

Внутри стен было тесно. Дома лепились друг к другу, узкие улочки вились между ними, мостовые были выложены камнем, стёртым ногами тысяч людей. Ближе к вечеру на улицах почти никого не оставалось — только редкие прохожие торопливо шли по своим делам, кутаясь в плащи. Никто не задерживался дольше, чем нужно. Никто не смотрел в сторону стен дольше, чем требовалось.

Над домами возвышался собор — огромный, тёмный, с острым шпилем, устремлённым в небо. Его колокола молчали уже тридцать лет. Старики говорили, что они замолчали в тот день, когда сожгли ведьму. Молодые не верили, но и не спрашивали.

На рыночной площади стоял позорный столб — деревянный, обгоревший, почерневший от времени. Рядом — статуя. Три мужчины с факелами, высеченные из камня, смотрели на площадь каменными лицами, каменными глазами. Под статуей была выбита надпись:

«Героям, спасшим город от ведьмы»

Люди проходили мимо. Смотрели на статую, когда шли на рынок, когда возвращались домой, когда вели детей за руку. Дети спрашивали: «Кто это?» — и родители отвечали: «Те, кто сжёг ведьму. Те, кто защитил нас». Дети кивали, смотрели на статую и боялись леса.

Город жил страхом. Он был в воздухе — тяжёлом, спёртом, пропитанном дымом и сыростью. Он был в воде из колодцев — холодной, отдающей железом. Он был в каждом взгляде, каждом шёпоте, каждом закрытом на замок окне. Люди запирали двери на ночь, ставили свечи перед иконами, крестились, когда слышали шум ветра за стенами.

— Она придёт, — шептали старики. — Она обещала.

— Не говори так, — отвечали молодые. — Она мертва. Её сожгли.

— Её сожгли, — кивали старики. — Но она обещала вернуться.

И молодые замолкали, потому что в глазах стариков был не просто страх. Был знак. Тот, кто не уходит, даже когда ты веришь, что ведьма мертва.

А за стенами, в лесу, было тихо. Слишком тихо.

И в этой тишине кто-то ждал.

Уже тридцать лет.

На самой окраине города, у стены, стоял небольшой дом — низкий, с покосившейся крышей, окна забиты досками, дверь полуоткрыта. Внутри было темно, сыро, пахло плесенью и старой бумагой. Это был архив монастыря. Сюда свозили старые документы — те, что никто

не читал, те, что никто не хотел помнить. Они лежали в пыльных коробках, на деревянных полках, и никто не трогал их годами.

В этом доме работал молодой писец по имени Леон.

Ему было двадцать. Он сидел за столом при свете единственной свечи, склонившись над пожелтевшим листом пергамента. Пальцы его были в чернилах, глаза покраснели от напряжения, но он продолжал перебирать документы.

Он не знал, что именно ищет. Просто чувствовал.

За окном смеркалось. Ветер завывал в щелях, сотрясал доски, и воздух в комнате становился холоднее с каждым часом. Леон поднял голову, посмотрел на окно — через щели было видно небо, серое, тяжёлое, и край стены, чёрный на фоне облаков. Он поёжился, потёр замёрзшие руки и вернулся к работе.

Он перебирал документы, стряхивая с них пыль. Старые записи о налогах, о земельных спорах, о торговле. Всё это было безжизненным, бумажным, ненужным. Пыль оседала на его пальцах, смешивалась с чернилами, оставляла тёмные следы на коже. Он уже хотел отложить коробку в сторону, когда рука задела что-то твёрдое. Он вытащил книгу в кожаном переплёте — потёртом, обгоревшем по краям, с тёмными пятнами на обложке.

Травник.

Леон открыл её, сдувая пыль — мелкую, едкую, она осела на его ресницах, на губах. Кашлянул. Страницы были покрыты аккуратным женским почерком, чернила выцвели от времени, но буквы ещё можно было разобрать.

Сначала — рецепты. Сухие, точные, деловые записи.

«Зверобой — от лихорадки. Собирать в июле, сушить в тени. Три горсти на кружку кипятка. Пить натощак».

«Корень валерианы — от бессонницы и страха. Варить три часа на медленном огне. Принимать по ложке перед сном. Не давать детям младше семи лет».

«Мята — от болей в животе. Заваривать свежей. Добавлять мёд для вкуса».

Леон читал медленно, вглядываясь в слова. Он знал многие из этих трав — они росли в лесу за стенами, но никто не ходил за ними уже тридцать лет. С тех пор как сожгли ведьму, лес стал запретным. Никто не рисковал ступать туда.

А потом, между рецептами, он увидел другие записи. Не сухие, не деловые, не про травы. Те же буквы — но они были мягче, теплее, торопливее. Будто их писала женщина, а не целительница. Будто она спешила записать мысли, пока они не исчезли.

Он перевернул несколько страниц.

«Сегодня младший впервые сказал „мама“. Я плакала от счастья. Лес шептал мне: „Ты счастлива, дочка“. Я счастлива. Я люблю этот мир».

Леон замер. Пальцы его дрогнули. Он смотрел на слова — простые, тёплые, живые — и чувствовал, как внутри что-то откликается на них.

«Вечером собрали яблоки. Дочка помогала, она такая серьёзная, когда работает. Муж сказал, что урожай хороший. Мы сидели на крыльце, я кормила младшего кашей, он пачкал всё лицо и смеялся. Лес был тихим. Спокойным. Я люблю этот дом, этот лес, эту жизнь».

Пролистал дальше. Записи о травах снова сменились личными строками.

«Младший разбил коленку. Он плакал, а я мыла рану, приговаривала. Он успокоился, когда я сказала, что лес поцелует его коленку, и она заживёт. Он спросил: „Лес умеет целовать?“ Я сказала: „Умеет“. Он улыбнулся. Я люблю его улыбку».

Леон перевернул страницу. И увидел запись, от которой у него перехватило дыхание.

«Завтра я пойду в лес. Сын кузнеца при смерти — лихорадка, ни зелья, ни молитвы не помогают. Только корень, который растёт у старого пня. Я должна найти его завтра. Муж просит не задерживаться, я обещала вернуться до темноты. Лес сегодня молчит. Как-то странно

молчит. Я чувствую холод, хотя лето. Я боюсь, сама не знаю чего. Но я должна идти. Я всегда возвращаюсь».

Он остановился. Пальцы дрожали. Он смотрел на слова и не мог их осмыслить. Она не знала, что случится завтра. Она просто боялась — смутно, без причины. Чувствовала холод. Шла спасать чужого сына, думая, что вернётся к своим детям.

Леон перевернул страницу дальше. Пустая. Следующая — пустая. И ещё одна. До самого конца — ни слова.

Он положил травник на стол. Смотрел на потёртую кожу, на обгоревшие края, на аккуратный почерк, который на последней странице стал неровным — будто рука дрожала, будто она боялась, но заставляла себя писать.

Провёл пальцем по последней записи. Она боялась. Она не знала, что это её последний вечер с детьми. Последний раз, когда она видит их живыми.

Он закрыл травник. Посмотрел на обгоревшую обложку, на тёмные пятна. Не знал, чья это книга. Но знал — это важно.

За окном ветер завыл громче. Где-то в темноте, за стенами города, в лесу, что-то дрогнуло. Ветка шевельнулась. Лист сорвался и упал на землю. И в тишине, которая наступила после, послышался шёпот — едва различимый, как дыхание.

— Я иду.

Леон вздрогнул. Поднял голову. Посмотрел на окно — за ним была только тьма. Но ему показалось — на мгновение, — что в этой тьме кто-то стоял. Смотрел на него. Ждал.

Он перекрестился. Отодвинул травник от себя.

Но он уже знал: он не сможет забыть этот голос. И эти слова.

Дом бургомистра стоял в центре города, на главной улице, напротив собора. Он был большим, каменным, с высокими окнами, занавешенными тяжёлыми шторами. Внутри пахло воском, деревом и дорогим вином — но в этом доме не было счастья.

Бургомистр сидел в своём кресле у камина. Ему было под семьдесят, но выглядел он на девяносто — сгорбленный, седой, кожа на лице висела складками, как у старого пса. Руки тряслись. Он не мог держать чашку, не расплескав содержимое, и уже давно пил только из деревянной кружки, которую ставили на подлокотник. Смотрел на огонь и молчал.

Напротив, в кресле, которое слуга прикатывал каждый вечер к камину, сидел его сын. Сорок лет, а выглядел так, будто жизнь выпила из него все соки — бледный, худой, с глубокими тенями под глазами, как у человека, который давно забыл, что такое сон. Ноги скрючены, изуродованы болезнью — тонкие, как сухие ветки, бесполезные, чужие. Не мог встать. Не мог сделать ни шагу. Мог только сидеть — в этом кресле, у этого камина, смотреть, как догорают дрова. Тоже молчал.

У него была жена. Её выбрал отец — дочь богатого торговца, который искал связи с городской властью. Она не спрашивала, хочет ли она замуж за калеку. Её не спрашивали. Она вышла, потому что отец сказал: «Ты выйдешь». И она вышла.

Она родила ему троих детей — двух дочерей и сына. Все они уже выросли. Все они покинули этот дом. Дочь вышла замуж и уехала в другой город. Сын ушёл в монастырь. Вторая дочь вышла замуж за купца и живёт в соседнем городе. Они присылают письма. Иногда — деньги. Но не возвращаются. Никто не хочет возвращаться в дом, где живёт проклятие.

Жена тоже не выходила к камину. Сидела в своей комнате, занималась рукоделием, читала — делала вид, что не слышит тишины. Делила с ним постель, но не делила жизнь. Жила с ним, но не с ним. И он знал это. Она не выбирала его. Просто подчинилась.

— Отец, — сказал он, не поворачивая головы.

Бургомистр поднял глаза. Не любил, когда сын начинал разговор. В последние годы каждый разговор заканчивался тишиной и холодом.

— Мне снится сон, — сказал сын. — Каждую ночь. Уже несколько дней.

Бургомистр молчал. Смотрел на сына — на бледное лицо, на глаза, в которых отражался огонь.

— Мне снится женщина, — продолжал сын. — Красивая. Тёмные волосы, светлое платье. Стоит на опушке леса. Вокруг неё цветы, трава, птицы садятся на плечи. Смотрит на меня.

Замолчал. Пальцы дрожали.

— Она говорит мне: «Я собрала травы для тебя. Я хотела спасти тебя». Я не знаю, что это значит. Я не понимаю, зачем она говорит мне это.

Бургомистр почувствовал, как по спине пробежал холод. Хотел сказать что-то — не мог.

— А потом, — голос сына дрогнул, — она загорается. Горит. И я слышу её крик. Она кричит: «Я вернусь. Я обещала».

Повернулся к отцу. В глазах — не страх, боль.

— Я просыпаюсь в поту, — сказал он. — Слышу её голос ещё несколько часов после того, как открываю глаза. Она кричит: «Я вернусь». Я не знаю, кто она. Не знаю, почему снится мне. Но чувствую, что это важно.

Бургомистр молчал. Не мог говорить. Видел её лицо — то же, что описывал сын. Тёмные волосы. Светлое платье. Стояла на опушке леса — утром, когда уходила за травами. Помнил.

Помнил, как она выглядела в тот день.

— Ты знаешь её, — сказал сын. Это был не вопрос. Он видел лицо отца.

Бургомистр сжал подлокотники кресла. Пальцы дрожали.

— Это был сон, — сказал он. — Просто сон. Сны ничего не значат.

— Тридцать лет мне не снились сны, — сказал сын. — А теперь каждую ночь я вижу её. Смотрит на меня и говорит, что хотела спасти меня. А потом горит и кричит, что вернётся.

Снова посмотрел на отца. В глазах — усталость. Та, которая бывает у тех, кто слишком долго ждал ответа.

— Кто она? — спросил он. — Ты знаешь.

Бургомистр молчал. Смотрел на свои руки — трясущиеся, и не мог сказать ни слова.

— Я был болен тогда, — сказал сын. — Лихорадка. Почти не помню то время. Только жар. Только темноту. И запах трав — кто-то приносил их в дом, ставил у моей постели, и я чувствовал, как они пахнут лесом.

Замолчал. Посмотрел на отца.

— Это она приносила травы? — спросил он. — Женщина из моего сна?

Бургомистр закрыл глаза.

— Не говори об этом, — прошептал он. — Не говори.

— Почему? — спросил сын. — Почему я должен молчать? Я молчал тридцать лет. Молчал, когда ты выбрал мне жену. Молчал, когда она родила мне детей и перестала разговаривать со мной. Молчал, когда мои дети выросли и ушли, потому что не хотели жить в этом доме. Молчал, когда понял, что моя жена живёт со мной, но не со мной. Молчал, когда смотрел, как другие мужчины работают, ходят, живут, а я сижу у окна и не могу подняться.

Посмотрел на отца. В глазах — не злоба. Только усталость.

— Я молчал, потому что ты был моим отцом. Потому что ты заботился обо мне. Потому что я был тебе нужен — хотя бы для того, чтобы ты чувствовал, что не один.

Замолчал. Посмотрел на свои руки. Они дрожали — так же, как у отца. Но по-другому. Не знал, откуда эта дрожь. От болезни. Или от страха.

— Теперь я хочу знать, — сказал он. — Кто она? Почему снится мне? Почему говорит, что хотела спасти меня?

Бургомистр поднял голову. Посмотрел на сына. На его измученное лицо. На дрожащие руки.

— Она была целительницей, — сказал он, и голос дрогнул. — Собирала травы. Лечила людей.

— Она лечила меня? — спросил сын.

Бургомистр молчал. Не мог ответить.

— Она пришла в тот день, чтобы спасти тебя, — сказал он наконец. — Пошла в лес за корнем. Корнем, который мог бы вылечить тебя.

— А потом? — спросил сын. — Что случилось потом?

Бургомистр закрыл глаза. Помнил. Помнил каждую секунду. Как она вернулась из леса. Как бежала к дому. Как кричала.

— Её сожгли, — сказал он. — Сожгли как ведьму.

Сын молчал. Смотрел на отца, и в глазах была боль.

— Ты был среди тех, кто сжёг её? — спросил он.

Бургомистр молчал.

— Ты держал факел? — спросил сын.

Бургомистр смотрел на свои руки. Они тряслись. Те самые руки, которые когда-то держали факел. Тридцать лет прошло, а они не перестали дрожать.

— Я делал то, что должен был, — сказал он. — Я защищал город. Она угрожала нам.

— Она угрожала вам? — переспросил сын. — Или она просто хотела спасти меня?

Бургомистр молчал.

— Ты сжёг женщину, которая хотела спасти твоего сына, — сказал сын. — Сжёг её. И теперь она снится мне. Говорит, что хотела спасти меня. А потом горит и кричит, что вернётся.

Покачал головой.

— Ты не ответил мне, — сказал он. — Ты держал факел?

Бургомистр закрыл глаза.

— Завтра я пойду в собор, — сказал он. — Буду молиться. Буду просить прощения.

— Ты просишь прощения уже тридцать лет, — сказал сын. — И ничего не изменилось.

Замолчал. Посмотрел на окно. За ним — вечер, серый, холодный, мокрый.

— Она вернётся, — сказал он. — Я знаю это. Я чувствую это. Она обещала. И она вернётся.

— Не говори так, — прошептал бургомистр. — Не говори.

— Я говорю правду, — сказал сын. — Ты сжёг её. Она прокляла тебя. И теперь она идёт.

Посмотрел на отца. В глазах не было страха — только усталость.

— Я не боюсь её, — сказал он. — Она хотела спасти меня. Не желала мне зла. Я только хочу сказать ей, что благодарен. Что помню её сон. Что знаю — она не была ведьмой.

Повернулся к огню.

— Но ты боишься, — сказал он. — Боишься её. И должен бояться.

Бургомистр смотрел на него, чувствуя, как холод пробегает по спине. Не знал, откуда этот холод — от слов сына, от старости или от того, что где-то за стенами, в темноте, она ждала. Но холод не уходил.

Чувствовал, как он поднимается по позвоночнику, касается затылка, остаётся внутри, не отпускает. Обернулся — никого. Только пустой коридор. Только собственное отражение в тёмном стекле — искажённое, чужое.

Камин горел. В комнате было тепло. Но внутри, где-то глубоко, остался холод. Не уходил.

Повернулся обратно. Сын смотрел на него — усталый, измученный, но спокойный. Уже не боялся. Принял свою судьбу.

А бургомистр всё ещё боялся.

Хотел сказать что-то. Хотел ответить на его вопрос. Хотел сказать, что да, он держал факел. Что да, он сжёг её. Что да, он слышал её проклятие.

Слова не шли.

Свеча на столе замигала. Пламя затрепетало, закачалось — как будто кто-то дунул на неё. Тени на потолке задвигались, заплясали. Смотрел вверх, не в силах отвести взгляд. Тени

тянулись к нему, обвивали, сжимали. Чувствовал, как они касаются его, проникают сквозь него.

Моргнул. Тени замерли. Свеча горела ровно. Всё как раньше.

Но холод остался.

Понял, что больше не чувствует себя в безопасности. Не в этом доме. Не в этом городе. Нигде.

Не знал, что это было — игра воображения, страх, старость — но знал одно: что-то изменилось.

Изменение пришло не извне. Оно пришло изнутри. Из того места, где тридцать лет назад он стоял с факелом в руке и смотрел, как она горит.

Закрыл глаза. В темноте, за веками, снова увидел её лицо. Чёрные глаза. Чёрные вены. Обгоревшие губы, шепчущие слова, которые не мог забыть, которые въелись в память, которые звучали в голове каждую ночь:

«Я вернусь. Я обещала».

Открыл глаза. Сын смотрел на него, не отрываясь. В глазах не было страха. Только ожидание.

— Ты держал факел? — повторил он. — Скажи мне. Я хочу знать правду.

Бургомистр смотрел на сына. На его измученное лицо. На дрожащие руки. На усталые глаза. Не мог сказать правду. Не мог солгать.

Закрыл глаза и прошептал:

— Я не знаю, что было правдой.

Сын молчал. Смотрел на отца, и в его глазах была только усталость. Та усталость, которая бывает у тех, кто слишком долго ждал ответа.

Отвернулся к огню.

В тишине, которая наступила, слышно было только, как потрескивают дрова, как капает где-то вода и как бьётся сердце бургомистра — слишком быстро, слишком громко, как у зверя в клетке.

А в темноте за окном, где-то в лесу, было тихо. Слишком тихо.

Только холод — внезапный, необъяснимый — всё ещё оставался внутри него.

Не отпуская.

Он открыл тяжёлую дубовую дверь собора, и она застонала — протяжно, жалобно, как живое существо, которое давно никто не смазывал. Скрежет металла разнёсся по нефу, ударился о стены, отразился от сводов, и на несколько мгновений этот звук заполнил собой всё пространство. Священник замер на пороге, прислушиваясь к тому, как он умирает, затихает, исчезает в вышине — и только тогда переступил порог.

Темнота накрыла его сразу — как вода, как холод, как тяжёлое одеяло, которое накинули на плечи. Он привык к ней — тридцать лет входил сюда, тридцать лет темнота встречала его, тридцать лет обнимала, как старая, знакомая, но чужая женщина. Закрыл дверь за собой. Тяжёлый засов лёг на место с глухим, утробным звуком — и он остался один.

Ступени вели вниз. Он ступал медленно, чувствуя каменные ступени — холодные, отполированные ногами тысяч людей. Босой. Не носил обуви в соборе. Так было правильнее. Так он чувствовал, что стоит на святой земле, что прикасается к чему-то вечному, к чему-то, что было задолго до него и будет задолго после. Но сегодня холод был другим. Он не просто касался его ступней — он проникал в них, поднимался по лодыжкам, по икрам, по коленям, и он чувствовал, как кости наливаются свинцом, как мраморный пол высасывает из него тепло, как он становится частью этого холода.

Он остановился у первой колонны. Положил ладонь на камень. Тот был ледяным, шершавым, покрытым тонким слоем влаги. Конденсат оседал на его пальцах, и он провёл по камню, чувствуя, как он отдаёт ему свой холод, как он забирает его тепло. Он стоял так несколько

мгновений, прислушиваясь к пустоте, которая окружала его, к тишине, которая висела в воздухе, как тяжёлый, неподвижный груз.

Собор был пуст. Всегда пуст. Даже днём, когда в нём было полно людей, он оставался пустым — просто потому что люди не заполняли его. Они приходили, ставили свечи, шептали молитвы, уходили — и пустота оставалась. Она была здесь всегда. Она ждала их ухода, чтобы снова занять своё место. Она была старше его. Старше самого собора.

Он сделал шаг вперёд. Эхо шагов ударило о стены, отразилось от сводов, вернулось к нему, но уже искажённым — тише, глуше, как будто кто-то шёл за ним след в след, но не касался пола, а парил над ним, повторяя его движения. Священник остановился. Замер. Прислушался.

Тишина.

Только его дыхание. Только шум крови в ушах. Только треск свечей у алтаря — далёкий, почти не слышный, как будто кто-то шептал на другом конце собора.

Он продолжил идти.

Каждая скамья, мимо которой он проходил, была пуста. Деревянные сиденья — тёмные, отполированные тысячами людей, которые сидели на них, — пустовали. Спинки скамей поднимались вверх, как пальцы, как руки, тянущиеся к нему, как люди, которые просили его о чём-то. Но они молчали. Они всегда молчали.

Он шёл между ними, и от его движений ветер поднимался с пола, нёс запах старого дерева, воска, ладана — запах, который пропитал всё здесь, который въелся в камни, в скамьи, в воздух, который стал частью самого собора. Он вдыхал этот запах, и он заполнял его лёгкие, оседал в горле, делал его дыхание тяжёлым и глубоким.

Он приблизился к алтарю.

Свечи горели ровно — пять толстых восковых свечей, которые он зажёг перед тем, как начать службу. Их пламя стояло неподвижно, как будто воздух в соборе замер, остановился, перестал дышать. Они отбрасывали свет — жёлтый, тёплый, но недостаточный. Их света хватало только для того, чтобы осветить алтарь и ближайшие ряды скамей. Всё остальное тонуло во мраке.

Священник опустился на колени.

Он делал это уже тридцать лет. Каждую ночь. И каждую ночь эта поза была одной и той же — колени на холодном камне, руки на чётках, голова чуть наклонена, глаза закрыты. Он не менял её. Он не искал удобства. Он не искал тепла. Он искал только тишину.

Но тишина не приходила.

Холод поднимался от каменных плит, от земли под ними, от того, что было глубже земли. Он проникал сквозь его колени, сквозь его бёдра, сквозь его позвоночник, и он чувствовал, как он поднимается вверх, к груди, к горлу, к голове. Он сжимал чётки в руках, пытаясь согреть их своим дыханием, но они оставались холодными. Дерево стёрлось, потрескалось, почти истлело от старости, и пальцы его скользили по неровной поверхности, касаясь каждой бусины, каждой косточки, каждого узелка, который он выучил наизусть за эти годы.

Он открыл глаза и поднял голову к распятию.

Оно висело над алтарём — тёмное, деревянное, с израненным телом Христа. Лицо Спасителя было искажено болью, но в этом лице не было отчаяния — только принятие. Только тишина. Только то, что он никогда не мог понять, то, что всегда ускользало от него, то, что делало эту фигуру чужой, далёкой, не имеющей к нему отношения.

Он смотрел на неё — и чувствовал пустоту.

— Господи, — прошептал он, и голос его был сухим, как шорох листьев, как треск старой бумаги, как звук, который издаёт дерево, когда оно высыхает и рассыпается в пыль. — Господи, услышь меня.

Распятие молчало. Не потому что оно не могло говорить — потому что оно никогда не говорило. Оно было просто куском дерева, просто изображением, просто напоминанием о том, что он должен чувствовать, но не чувствовал.

Он закрыл глаза.

— Отче наш, сущий на небесах, — начал он, и слова лились из него сами, как вода из переполненной чаши, как дождь, который идёт, потому что не может остановиться. — Да святится имя Твоё. Да приидет Царствие Твоё. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Он произносил эти слова медленно, как будто пробовал их на вкус, как будто пытался вспомнить, что они означают. Но они ничего не означали. Они были пустыми, выцветшими, как старая одежда, которую он носил годами. Они держались на нём, но не грели его.

— Хлеб наш насущный дай нам днесь, — продолжал он. — И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

Он остановился. Открыл глаза. Смотрел на распятие.

— Кого мне прощать? — спросил он тихо. — Себя? Тебя? Их?

Распятие молчало.

Он не ждал ответа. Он уже давно не ждал. Просто иногда слова застревали в горле, и он не мог их проглотить, не мог их вытолкнуть. Они оставались внутри него, как камни, как осиные гнёзда, как что-то, что нельзя было ни сказать, ни забыть.

Он опустил голову. Пальцы его перебирали чётки — медленно, механически, без участия сознания. Он делал это, чтобы занять руки. Чтобы не думать.

Но мысли приходили сами.

Они были тихими. Они были осторожными. Они прятались в тени за его спиной, ждали, когда он расслабится, когда он перестанет закрываться от них. Они просачивались сквозь его память, как вода сквозь трещины в старом камне, и он не мог остановить их.

Он думал о прошлом.

Он вспоминал себя — молодым, красивым, уверенным. Он вспоминал, как женщины смотрели на него, как они улыбались ему, как они искали его внимания. Он вспоминал их лица — сначала смутно, как тени, потом всё яснее, всё отчётливее, пока они не становились реальными.

Он видел их.

Они приходили к нему в исповедальню — маленькую, тёмную каморку, где он сидел по ту сторону решётки, а они — по эту. Они шептали ему свои грехи, а он слушал их. Он слышал в их голосах страх, стыд, желание — то, что они не могли сказать никому, кроме него. И он брал их.

Он не помнил, когда это началось. Он просто однажды понял, что может это делать. Что может коснуться их руки через решётку, что может сказать им что-то, что заставит их дрожать, что может наклониться ближе и почувствовать их дыхание.

Они не отказывали ему.

Они боялись. Боялись, что он расскажет об их грехах. Боялись, что он проклянёт их. Боялись, что он откажет им в отпущении. И этот страх был сильнее их стыда, сильнее их гордости, сильнее их верности мужьям.

Он брал их — молодых и старых, замужних и незамужних, богатых и бедных. Он брал их в исповедальне, в своей комнате, в тёмных углах собора. Он брал их, потому что мог. Потому что никто не мог отказать ему.

Но ни одна из них не была той.

Он не знал, почему он думал об этом сейчас. Просто в тишине собора, в этом холоде, в этом мраке, что-то шевельнулось внутри него. Какая-то тень, которая всегда была там, которую он не мог прогнать.

Он закрыл глаза, пытаясь отогнать её.

— Не думай об этом, — сказал он себе. — Не думай.

Но тень не уходила. Она становилась темнее, плотнее, ближе. Она пахла лесом — сырой землёй, мхом, травами, которые она собирала. Она пахла её кожей, её волосами, её дыханием.

Он открыл глаза. Оглянулся.

В соборе никого не было. Только скамьи. Только колонны. Только темнота, которая сгущалась в углах, пряталась за алтарём, ждала.

Он повернулся обратно к распятию.

— Я не хочу вспоминать, — сказал он. — Я не хочу думать о ней.

Он не знал, кому говорит. Но слова вырвались сами.

Он сжал чётки в руках. Пальцы его дрожали — не от холода, нет. Он привык к холоду. Он не чувствовал его уже много лет. Руки дрожали от чего-то другого — от того, что внутри него поднималось, что не давало ему покоя, что не отпускало его даже здесь, в соборе, перед алтарём, перед лицом Господа.

Он поднял голову к распятию.

— Почему она здесь? — спросил он. — Почему она не уходит?

Распятие молчало.

Он закрыл глаза. И в темноте, за веками, он увидел её — молодую, красивую, с тёмными волосами, которые пахли лесом. Она стояла на опушке, в светлом платье, и смотрела на него.

— Что тебе надо? — прошептал он.

Она не отвечала. Она просто смотрела.

Он открыл глаза. Смотрел на распятие. Смотрел на свечи. Смотрел на стены, которые давили на него, на своды, которые уходили в темноту, на пустоту, которая окружала его, которая проникала в него, которая становилась им.

Он снова закрыл глаза и попытался молиться, но слова путались, застревали в горле, рассыпались, как песок сквозь пальцы. Он не мог молиться. Не мог думать. Не мог дышать.

И вдруг он почувствовал холод.

Настоящий, физический холод, который не имел ничего общего с каменным полом или с ночным воздухом. Это был другой холод — он поднимался изнутри, из глубины его тела, из той части души, которую он не мог заполнить ни молитвами, ни властью, ни женщинами. Холод поднимался по позвоночнику, по рукам, по шее, и он чувствовал, как он проникает в него, как он заполняет его, как он сжимает его сердце ледяными пальцами.

Он вздрогнул.

Открыл глаза.

В соборе было тихо. Свечи горели ровно. Тени на стенах замерли.

Но он слышал — где-то далеко, за пределами слышимости, на грани, где реальность встречается с тем, что не имеет названия, — шёпот.

Он был тихим, как дыхание. Как шум ветра в листве. Как голос, который доносится из другого мира.

— Ты помнишь меня?

Священник замер. Пальцы его сжали чётки так, что костяшки побелели. Он прислушался. Тишина. Только его сердце, которое билось слишком быстро, слишком громко.

— Кто здесь? — спросил он.

Тишина. И снова:

— Я помню тебя.

Священник встал. Сделал шаг назад. Ноги дрожали, колени подкашивались, он прижался спиной к алтарю, чувствуя, как каменный край впивается в его поясницу.

— Ты не существуешь, — сказал он, но голос его дрожал. — Ты никогда не существовала. Ты умерла. Я видел, как ты горела.

Смех. Тонкий, звонкий, как колокольчик, как смех маленькой девочки, которая смеялась над чем-то радостным и лёгким.

— А ты видел моих детей, — сказал голос, и теперь в нём была сталь, холод, который не имел ничего общего с каменным полом или с ночным воздухом. — Ты видел, как они горели.

Священник закрыл глаза. Прижал ладони к ушам.

— Замолчи, — прошептал он. — Замолчи.

— Ты видел, как они умирали. Ты видел мою дочь на кресте. Ты видел её лицо. Ты помнишь её лицо?

— Замолчи! — закричал он.

Эхо его голоса разнеслось по собору, ударилось о стены, отразилось от сводов, вернулось к нему — искажённое, чужое, почти не его.

Смех повторился. Громче, чем раньше, резче, как удар хлыста. Он доносился из углов собора, из темноты, из-за колонн, из-под земли, из камня, который носил его тридцать лет.

Священник упал на колени. Он не помнил, как оказался на полу. Он просто стоял на коленях, как и раньше, но теперь внутри него была не пустота — был ужас.

Он сжал чётки. Сжал так сильно, что бусины впились в его ладонь. Он зашептал молитву — быстро, отчаянно, как заклинание, которое должно было защитить его:

— Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да приидет Царствие Твоё…

Слова срывались с его губ, торопливые, путаные. Он не знал, что говорит. Он просто повторял заученное, как стену, как щит, как единственное, что осталось у него.

И вдруг он почувствовал прикосновение.

Тёплое, мягкое, как рука ребёнка, которая лежит на его плече. Он замер. Затаил дыхание. Он не хотел оборачиваться.

— Ты не боишься меня? — спросил голос, и в нём было столько холода, столько грусти, столько боли, что он не мог вынести её.

Священник молчал. Смотрел на распятие.

— Ты боишься, — сказал голос. — Ты всегда боялся. Даже тогда, когда ты держал факел.

Он почувствовал, как пальцы сжимаются на его плече. Сильнее. Сильнее. И холод, который шёл от них, проникал сквозь его кожу, сквозь мышцы, сквозь кости, в самое сердце.

— Я не боюсь тебя! — крикнул он.

Но голос его дрожал. И ложь была так очевидна, так громка, что даже стены собора, казалось, застонали от стыда.

Он обернулся.

Никого.

Только пустота.

Только темнота.

Только тени в углах, которые застыли, как будто ждали его.

Священник смотрел в пустоту и чувствовал, как внутри него поднимается что-то, что он не мог ни назвать, ни объяснить, ни остановить.

Он сжал чётки сильнее. Закрыл глаза. Зашептал молитву снова и снова.

Но холод оставался.

И он знал — больше он не чувствовал себя в безопасности.

Ни здесь. Нигде.

Дом инквизитора стоял на площади, напротив собора, но в отличие от других зданий, он не выглядел жилым. Он был тёмным, угрюмым, с узкими окнами-бойницами, которые почти не пропускали света. Казалось, что дом не принимал участия в жизни города — он просто стоял и наблюдал, смотрел на рыночную площадь холодными каменными глазами, фиксируя всё, что происходило вокруг.

Узкая дверь была обита железом. Никто не мог войти в этот дом без приглашения. Никто не хотел входить без необходимости. Даже стражники обходили его стороной, когда проходили мимо, стараясь не смотреть на окна, за которыми, как говорили, всегда горел свет — ровный, жёлтый, безжизненный, как свет свечи, которую держат у постели умирающего.

Внутри было темно и холодно. Каменные стены, которые никогда не прогревались даже летом, хранили сырость и запах сырого камня, старого дерева и ладана. Пол был покрыт тёмным деревом, стёртым до блеска сотнями шагов. Вдоль стен стояли массивные дубовые шкафы, закрытые на замки. В них хранились документы — приговоры, доносы, списки имён, которые никто не должен был видеть. Некоторые из них были тридцатилетней давности. Он хранил их все.

Инквизитор сидел за столом в глубине комнаты, единственной, где горел свет. Большой дубовый стол, заваленный бумагами, лежал перед ним, и он склонился над ними, перебирая страницы сухими, тонкими пальцами. Свеча стояла на самом краю стола, рядом с чернильницей и пером. Её свет освещал только его руки, лицо и бумаги, которые он держал. Всё остальное тонуло во мраке.

Ему было за шестьдесят, но он выглядел моложе — высокий, худой, с жёстким, аскетичным лицом, с острыми скулами и тонкими, бескровными губами. Глаза его были серыми, почти прозрачными — холодными, как лёд, и такими же непроницаемыми. Он носил чёрную рясу, на груди которой висел серебряный крест — массивный, тяжёлый, с распятым Христом, который смотрел на мир мёртвыми глазами.

Инквизитор не носил украшений. Только этот крест. Он висел на его груди всегда — когда он спал, когда ел, когда судил людей. Он был его напоминанием о том, что он делает. О том, что он служит не себе, не людям, не городу — он служит Богу.

Он верил в это. Он верил в это так сильно, что никто не мог поколебать его веру.

Он поднял голову от бумаг и посмотрел на стену, где висела грамота в золотой рамке. Она была старой, выцветшей, но всё ещё читаемой. Папская печать — красный воск, который почти не поблёскивал, потрескался от времени, но держался крепко. Он помнил, как получил её тридцать лет назад. Тогда он был моложе. Он только начинал свой путь. Папа прислал его в эту маленькую деревню — тогда это была всего лишь деревня, — чтобы он очистил её от ереси.

Он приехал с грамотой в руках, с серебряным крестом на груди и с верой в сердце. Он знал, что это его миссия. Его судьба. Его призвание.

Он начал с судов. С допросов. С костров.

Деревня боялась его. И этот страх был правильным. Страх перед Богом. Перед его волей. Перед тем, что приходит к тем, кто нарушает законы.

Он помнил её. Молодую женщину с тёмными волосами, которая пахла лесом. Она была красивой — он признавал это. Но красота не имела значения, когда речь шла о вере. Она была ведьмой. Она угрожала душам людей. Она должна была умереть.

Он не сомневался в этом. Он никогда не сомневался.

Инквизитор перевёл взгляд с грамоты на бумаги, которые лежали перед ним. Сверху лежал донос. Он взял его в руки — лист плотной бумаги, сложенный вдвое, с печатью церкви на обороте. Тонкие, аккуратные буквы, выведенные знакомой рукой.

«Святейшему отцу инквизитору. Смиренно доношу о греховных делах, творящихся в нашем городе. Некая Маргарита, дочь кожевника, проживающая на улице Кузнечной, в доме номер семь, была замечена мной в сношениях с нечистой силой. На исповеди она призналась мне в том, что видит сны, в которых с ней говорит голос из леса. Она сказала, что этот голос учит её лечить людей травами. Она не раскаялась в этом. Напротив, она говорила о своих снах с гордостью, утверждая, что голос этот добр и что он помогает ей. Я подозреваю, что голос этот — не кто иной, как дьявол, принявший облик лесного духа. Она отказалась приносить покаяние и утверждает, что не совершила греха. Прошу вас, святой отец, принять меры во

спасение души этой заблудшей овцы. Свидетельствую также, что она часто посещает лес, что запрещено церковным уставом, и приносит оттуда травы, которыми лечит людей, вводя их в заблуждение и отвращая от молитвы. Ваш покорный слуга, священник Иоанн».

Инквизитор дочитал до конца и положил лист на стол. Его пальцы, сухие и холодные, лежали на бумаге, как будто он хотел запомнить каждое слово, каждый знак, каждую букву. Он поднял глаза на распятие и задержал взгляд на лице Спасителя, но не стал ждать ответа. Он отвёл взгляд.

Он снова посмотрел на донос. Маргарита. Двадцать пять лет. Дочь кожевника. Живёт одна. Не замужем. Это было важно — незамужняя женщина, живущая одна, уже вызывала подозрения. К тому же она ходила в лес и собирала травы.

Инквизитор не знал её. Он не хотел знать её. Он знал только одно — она была ведьмой. Так сказал священник, которому она исповедовалась. Этого было достаточно.

Он перечитал донос второй раз. Потом третий. Слова священника были знакомы — он чувствовал в них ту же уверенность, ту же решимость, ту же святость, которая отличала служителей церкви от простых людей.

«Принесла покаяние? Отказалась», — прочитал он про себя.

Он положил донос и взял следующую бумагу — список свидетелей. Соседи. Трое. Они видели, как она ходила в лес по ночам. Видели, как она собирала травы. Видели, как она шептала что-то над больными. Они боялись её.

Это было важное свидетельство. Чем больше людей боялись, тем больше правды было в этих показаниях.

Он отложил список свидетелей. Потом взял приговор — уже готовый, уже написанный, уже подписанный его рукой. Он перечитал его, проверяя формулировки. Всё было правильно. Всё было по закону. Всё было по воле Бога.

Инквизитор поднялся из-за стола. Подошёл к окну, раздвинул тяжёлые шторы и посмотрел на площадь. Вечерний сумрак опускался на город, серый, тяжёлый, влажный. Люди исчезали в домах, закрывали двери, зажигали свечи. Город затихал, готовясь к ночи.

Он смотрел на них сверху и не чувствовал ничего. Только холодную пустоту. Он знал, что они боятся его. Он чувствовал этот страх, когда проходил по улицам, когда входил в собор, когда поднимался на помост, чтобы вынести приговор. Он не искал их страха — но он принимал его, как часть своей работы, как часть своей миссии.

Завтра он снова выйдет на площадь. Завтра он поднимется на помост. Завтра Маргариту приведут к столбу. Он прочитает приговор. Он увидит страх в её глазах, когда она поймёт, что спасения нет. И он скажет ей, что только огонь может очистить её душу.

Он не радовался этому. Он просто делал свою работу.

Он отошёл от окна. Направился к двери, ведущей в спальню. Завтра будет длинный день. Суд. Допрос. Приговор. Он должен быть готов.

Он шёл по тёмному коридору, и шаги его разносились по дому, как удары колокола, как предупреждение, как напоминание о том, что он здесь. Стены смыкались вокруг него — холодные, каменные, мёртвые. Они не были живыми. Они были такими же, как он. Холодными. Пустыми. Твёрдыми.

Его спальня была такой же тёмной, как и весь дом. Узкая кровать, жёсткая, с деревянным изголовьем, стояла у стены. На стене висело распятие — большое, чёрное, почти безликое, с фигурой Христа, которая растворялась в темноте.

Он опустился на колени перед распятием, сложил руки и закрыл глаза. Он не молился. Он просто стоял на коленях. Это был ритуал. Он делал это каждую ночь перед сном. Потому что так было правильно.

— Господи, — прошептал он, и голос его был ровным и сухим, как шорох бумаги. — Господи, дай мне силы исполнить волю Твою. Дай мне мудрости отличить добро от зла. Дай мне твёрдости не сомневаться в том, что я делаю.

Он открыл глаза и посмотрел на распятие.

— Я не сомневаюсь, — сказал он. — Я никогда не сомневался. Я знаю, что я прав. Я знаю, что Ты на моей стороне. И никто не сможет поколебать меня.

Он поднялся с колен, лёг на кровать и закрыл глаза.

Тишина накрыла его, как одеяло, холодное и тяжёлое. Он лежал, не двигаясь, слушая, как его сердце бьётся ровно, как ветер за окном воет в щелях, как дом оседает и потрескивает.

И вдруг — тень.

Она скользнула по стене, за распятием, и исчезла. Он не видел её. Он чувствовал её. Она была там, на границе зрения, в углу, где свет свечи не мог разогнать тьму.

Инквизитор открыл глаза. Смотрел в темноту.

— Кто здесь? — сказал он тихо.

Тишина.

— Я спрашиваю, кто здесь, — сказал он громче.

Никто не ответил.

Он сел в постели, прислушиваясь. Сердце билось ровно. Тишина стояла, как стена. Только ветер за окном.

Он лёг обратно.

Но внутри него, где-то глубоко, осталось что-то. Чувство, которое он не мог ни назвать, ни прогнать. Чувство, которое не имело отношения к вере, к долгу, к приговору. Чувство, которое было старше его, старше его веры, старше его жизни.

Он не знал, что это было.

Но он не мог избавиться от него.

Утро пришло серое и холодное. Мелкий моросящий дождь висел в воздухе, не решаясь пролиться, но пропитывая одежду, волосы, кожу. Площадь была полна людей — они стояли плечо к плечу, молчаливые, напряжённые. Только шёпот переливался по толпе, как вода по камням:

— Её будут судить.

— Она лечила травами.

— Священник сказал, она ведьма.

— Все, кто лечит травами, — ведьмы. Так было всегда.

— Говорят, она ходила в лес.

— Говорят, она разговаривала с голосом.

— А говорят, там, в лесу, до сих пор бродит та, которую сожгли тридцать лет назад.

— Замолчи. Не смей говорить об этом.

Люди стояли и ждали. Их голоса были тихими, испуганными, как у людей, которые боятся даже того, что говорят. Они смотрели на пустой помост, на столб, на верёвки, которые лежали рядом, и ждали.

На помосте было пусто. Только столб — тёмный, обугленный, с тёмными пятнами на дереве. Рядом с ним лежали верёвки — грубые, пеньковые, с уже завязанными петлями.

Священник стоял рядом с инквизитором. Пальцы сжимали чётки — холодные, деревянные, стёртые от времени. В груди поднималось странное чувство. Не страх. Не сомнение. Он не сомневался. Он знал: он поступает правильно.

Лицо той, что стояла сейчас на помосте, врезалось в память. Как она пришла на исповедь. Как говорила о снах — без страха, без стыда. Как сказала: «Я не боюсь. Я знаю, что делаю добро». И не просила прощения. Не каялась. Просто смотрела на него с этой странной ясностью в глазах, которая была так похожа на ту, другую.

Пальцы его дрогнули на чётках.

Та, другая. Та, что тоже пахла лесом. Та, что тоже смотрела на него без страха. Та, что тоже сказала «нет», когда он протянул руку. И в этом голосе — не страх, не стыд, не то, что он привык видеть. Только холод.

Тот холод не ушёл до сих пор. Он остался в пальцах, в груди, в горле.

Он помнил, как она отстранилась. Как сказала: «Не надо». Как смотрела на него с той же ледяной уверенностью, которая была у той, другой. У той, которая сгорела на костре тридцать лет назад.

Теперь эта — новая. Такая же молодая, такая же красивая, такая же уверенная. И она тоже отстранилась.

«Не надо», — сказала она.

Тогда он взял перо. Написал донос. Быстро, аккуратно, твёрдо. Что она призналась в сношениях с дьяволом. Что отказалась каяться. Что опасна для города, для веры, для душ. Ни слова лжи. Просто правда, которую он увидел. Своя правда.

Теперь она стояла на помосте. Руки связаны, ноги привязаны к столбу. Платье грязное, мокрое от дождя. В глазах — та же уверенность, которая была у той, другой. Она смотрела в толпу, искала кого-то, кто посмотрит на неё с жалостью.

Никто не смотрел.

Никто не заговорил.

Никто не встал на её сторону.

И внутри него поднималось удовлетворение. Она не уйдёт. Не сбежит. Не сможет больше смотреть на него с этим холодом. Она будет гореть. Будет кричать. Будет умолять о пощаде.

Он будет стоять и смотреть.

Она отвернулась от него. Смотрела в толпу, на людей, на соседей. И он видел, как её плечи вздрагивают, как она пытается держаться прямо, как руки дрожат, но она не плачет. Не просит. Не молит. Просто стоит.

— Я не виновата, — сказала она. Тихо. Почти беззвучно.

Леон стоял в толпе. Он не должен был быть здесь. Он должен был быть в архиве, перебирать бумаги, читать старые документы. Но он не мог оставаться там после того, что прочитал. Не после того, как увидел её глаза в словах дневника, в словах травника, в словах, которые она написала за день до того, как умереть.

Он смотрел на Маргариту. На её руки, связанные за спиной. На её лицо, бледное, с тёмными кругами под глазами. Она была молодой, но выглядела уставшей, как человек, который давно привык к страху, но всё ещё не сдался.

Он смотрел на неё и думал о той, другой. О той, кто написала: «Я всегда возвращаюсь». И о том, что она до сих пор не вернулась.

Инквизитор шагнул вперёд. Его голос разнёсся по площади, громкий, ровный, холодный:

— Маргарита, дочь кожевника. Ты обвиняешься в колдовстве, в сношениях с дьяволом, в использовании трав для наведения порчи на соседей. Ты отказываешься признать свою вину и просить прощения у Господа. Ты отрицаешь грехи, в которых призналась на исповеди.

Он замолчал. Посмотрел на неё.

— Ты также обвиняешься в том, что ходила в лес, нарушая церковный запрет. Что собирала там травы. Что лечила людей, отвращая их от молитвы. Что видела сны, в которых говорил голос, и верила ему.

Священник смотрел на неё. На её спокойное лицо. На её глаза, которые смотрели в толпу. Он ждал страха. Ждал, когда она сломается.

Она не сломалась.

Инквизитор подошёл ближе. Его голос стал тише, но от этого не менее страшным.

— Ты признаёшь свою вину?

Маргарита подняла голову. Посмотрела на него. В её глазах не было страха. Была только усталость.

— Я не виновата, — сказала она. — Я лечила людей. Я не делала зла.

Инквизитор покачал головой. Его лицо оставалось холодным, непроницаемым.

— Господь свидетель твоей лжи, — сказал он. — Я, как его слуга, приговариваю тебя к сожжению на костре.

Он повернулся к столбу. Взял факел, который держал в руках. Поднял его высоко над головой, чтобы все видели.

Священник смотрел на факел. На пламя, которое дрожало и танцевало на ветру. Он ждал. Он ждал этого момента всю ночь.

Инквизитор бросил факел в костёр.

Сухие ветки вспыхнули мгновенно. Солома загорелась с треском, огонь взметнулся вверх, жар ударил в лица первого ряда. Толпа отшатнулась. Кто-то вскрикнул. Кто-то перекрестился.

Маргарита зажмурилась. Её плечи напряглись. Она ждала боли.

Но боль не пришла.

Огонь касался её ног, её рук, её лица. Он лизал её платье, её волосы, её кожу. Но она не горела. Пламя обходило её, как будто она была невидимой, как будто вокруг неё был щит, который не пропускал ни жара, ни огня.

Священник замер. Пальцы его сжали чётки так, что костяшки побелели. Он смотрел на пламя, которое не жгло, и не понимал, что происходит.

— Что это? — прошептал он. — Что это, во имя Господа?

Инквизитор сделал шаг вперёд. Его лицо — обычно спокойное, холодное, непроницаемое — дрогнуло. Он смотрел на Маргариту, на пламя, которое обходило её, и не мог вымолвить ни слова. Его рука сжалась на рукояти факела.

Толпа загудела. Кто-то вскрикнул. Кто-то отступил назад. Кто-то упал.

— Зажгите его снова! — крикнул инквизитор. — Быстро! Зажгите!

Стражники бросились к костру. Один из них поднёс факел к углям. Огонь вспыхнул снова — ярко, горячо, пламя взметнулось вверх. Но снова не коснулось её. Оно обходило её, как будто она была невидимой.

— Она не горит! — крикнул кто-то в толпе.

— Смотрите! Она не горит!

— Это чудо!

— Это колдовство!

— Это она!

— Та, из леса!

Толпа закричала. Голоса смешались в один сплошной гул. Кто-то падал на колени, кто-то бежал, кто-то кричал от ужаса.

Священник стоял на коленях на помосте, сжимая чётки. Пальцы побелели, костяшки хрустели. Он смотрел на Маргариту и не верил. Внутри него что-то ломалось — не сердце, не вера, а что-то другое. То, что держало его на земле. То, что делало его тем, кто он есть.

Инквизитор сделал шаг назад. Его лицо — обычно холодное, непроницаемое — дрогнуло. Губы сжались в тонкую линию, глаза расширились. Он смотрел на пламя, которое не жгло, и не мог вымолвить ни слова. Рука сжала крест на груди так, что серебро впилось в ладонь.

— Что это? — прошептал он. — Что это?

В толпе кто-то упал. Женщина с ребёнком на руках — она прижала его к себе, закрыла лицо руками. Её губы шевелились, но слов не было слышно. Рядом с ней старик встал на

колени, смотрел на помост и крестился снова и снова. Молодой парень побежал, споткнулся, упал лицом в грязь, поднялся — и побежал дальше, не оглядываясь.

Пламя снова затухло. Не постепенно — оно просто исчезло, как будто его выключили. Остался только дым — густой, белый, тяжёлый. Он стелился по земле, поднимался вверх, окутывал помост, делал людей призраками. Влажный, липкий, он оседал на коже, на одежде, на лицах. Запах гари смешался с запахом сырой земли.

В дыму начала появляться фигура.

Сначала — тень. Тёмный силуэт, который сгущался из дыма, как будто дым был её телом, как будто она ткала себя из воздуха. Потом — женщина в чёрном балахоне. Она стояла в центре костра, на обугленных углях, которые ещё дымились. Капюшон был опущен, и толпа увидела её лицо.

Она была красивой. Но красота её была мёртвой — как у статуи, как у маски, как у лица, которое видело смерть и стало ею. Кожа была бледной, почти прозрачной, губы — тонкими, бескровными. Глаза — чёрные, без белков, без зрачков, как две бездны, которые смотрели на мир и не мигали. На шее, на руках, на висках — чёрные вены, тонкие, как паутина, пульсировали под кожей. Они двигались, как живые.

Она смотрела на толпу.

— Вы снова хотите убить невинную, — сказала она.

Голос её был низким, глубоким, он шёл не из горла — из груди, из земли, из того места, где корни встречаются с камнем. Он заполнял площадь, заставлял людей сжиматься, пригибаться, закрывать уши.

— Я не позволю.

Она подняла руку. Движение было плавным, медленным, как будто она двигалась в воде. Пальцы её были тонкими, с чёрными ногтями, как обугленные кости. Верёвки на руках Маргариты спали сами собой — они просто исчезли, рассыпались, как песок.

Маргарита упала на колени. Её тело перестало слушаться. Она смотрела на женщину в чёрном и не могла отвести взгляд.

— Я вернулась, — сказала она.

Толпа замерла. Тишина стала ещё глубже, чем была. Даже дождь, казалось, перестал падать.

— Тридцать лет вы ждали меня. Боялись меня. Думали, что я ушла. Но я была здесь. Все эти годы — в корнях, в земле, в лесу. Я ждала. Я слушала. Я видела, что вы делаете с другими.

Она повернулась к инквизитору. Он стоял, не двигаясь. Его лицо было белым, как мел. Глаза его смотрели на неё, но он не мог отвести взгляд. Не мог пошевелиться. Он был парализован — не страхом, а чем-то другим. Знанием. Он знал, кто она.

— Ты думал, что победил тогда, — сказала она. — Ты думал, что сжёг меня. Но ты ошибся. Ты не сжёг меня. Ты создал меня.

Инквизитор открыл рот, но не смог произнести ни слова.

Она повернулась к священнику. Он лежал на помосте, сжимая чётки. Его глаза были расширены, дыхание прерывистое. Он смотрел на неё — на её лицо, на её чёрные глаза, на её чёрные вены, — и не мог поверить, что видит это.

— Ты тоже думал, что победил, — сказала она. — Ты думал, что избавился от меня. Ты брал других женщин, искал моё лицо в них, но не находил. И ты ненавидел меня за это.

Священник закричал. Не от боли — от ужаса, который вырвался из глубины его души. Он упал на колени, пытаясь отползти, но у него не было сил.

Она подняла руку. Чёрная молния ударила из её пальцев в небо — тонкая, как трещина в стекле. Небо ответило. Гром прокатился над площадью, такой громкий, что у людей заложило уши. И дождь хлынул с новой силой — холодный, тяжёлый, как ледяные иглы.

— Убирайся отсюда! — крикнула она. — Беги! Скажи всем, что я вернулась. Скажи им, что я иду.

Священник вскочил, побежал, спотыкаясь, падая, поднимаясь.

Маргарита исчезла в дыму. Её силуэт растаял, как будто она стала частью тумана, который накрыл всё вокруг. Только её голос остался в воздухе — как эхо, как воспоминание, как обещание.

Она смотрела на толпу. Её глаза пронзали каждого. Она видела страх. Видела ужас. Видела, как люди падают на колени, как они молятся, как они плачут.

— Я буду ждать, — сказала она. — Я буду слушать. И когда вы снова попытаетесь убить невинного — я приду.

Она исчезла в дыму.

И осталась только тишина.

Дождь лил, смывая всё — дым, пепел, угли. Он смывал кровь с камней. Он смывал страх с лиц. Но он не мог смыть то, что осталось в душах людей.

Толпа стояла в оцепенении. Люди не двигались. Не говорили. Они смотрели на пустой помост, на костёр, который перестал гореть. Они слышали её голос. Они чувствовали её присутствие.

Она была реальна.

Леон стоял, не двигаясь. Он смотрел на пустой помост, на дым, который медленно рассеивался. Он слышал её голос. Он чувствовал, как её слова вошли в него, как они осели в груди, в горле, в мыслях.

Она не была легендой. Она не была слухом. Она была женщиной, которая вернулась.

Он думал о травнике. О словах, которые она написала. О своей боли, о своём страхе, о своей жизни, которая была разрушена. И вдруг внутри него что-то перевернулось. Что-то, что не имело названия. Что-то, что было сильнее страха, сильнее сомнений, сильнее всего, что он знал.

Он вышел из толпы, когда люди начали расходиться. Они двигались медленно, как во сне. Некоторые плакали. Некоторые молчали. Некоторые смотрели в землю, как будто боялись поднять глаза.

Леон шёл по улицам, не обращая внимания на дождь. Холод не чувствовался. Он видел только дорогу, которая вела к воротам. К лесу. К ней.

ГЛАВА 2. ШЁПОТ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

Город просыпался медленно. Не так, как просыпался всегда — без привычного гомона птиц, без утреннего крика петухов, без скрипа тяжёлых телег, без звонких голосов торговцев, откидывающих полотнища лавок, без детского смеха у колодцев и мерного, гулкого лязга кузнечных молотов на перекрёстках. Сегодня над домами висела зловещая, звенящая в ушах тишина. Она была густой, липкой, обволакивающей, похожей на сырую глину, которая мёртвой хваткой цепляется за подошвы и тянет вниз, не позволяя сделать и шагу.

Низкое свинцовое небо давило на крыши черепицы так сильно, будто само намеревалось рухнуть на мостовые, стереть с лица земли этот камень, башни и стены, превратив всё в серую, безликую пыль. Мелкий промозглый дождь под утро прекратился, но влага намертво въелась в камень стен, в древесину ворот, в перекрытия крыш. Она оседала на лицах людей холодным, сальным потом, пропитывала насквозь одежду, забиралась под воротники ледяными пальцами, смешиваясь со страхом, который за минувшую ночь успел пустить корни в каждом сердце.

Улицы зияли пугающей пустотой. Исчезло даже то, что всегда наполняло город жизнью в этот час: ни бродячих псов, обычно роющихся у заброшенных мусорных куч, ни пугливых облезлых кошек. Даже крысы спрятались глубоко в подземелья, забившись в самые дальшие щели фундаментов. Лишь резкий, ледяный ветер гулял по узким тупикам и переулкам, принося с собой удушливый, въедливый дух гари, прелого пепла и сырой, потревоженной могильной земли. Запах этот смешивался с человеческим ужасом — кислым, тяжелым, не желающим выветриваться.

Центральная площадь встретила рассвет мертвенным оцепенением.

Помост, на котором вчера полыхал страшный костёр, теперь выглядел огромной безобразной раной посреди камней. Тяжёлые брусья обуглились до самого основания, потрескались, покрывшись сеткой глубоких трещин, источая смрад тлеющего дерева. Обрывки толстых верёвок, которыми была стреножена Маргарита, сгорели почти дотла — лишь нелепые обугленные концы судорожно дёргались на порывах ветра. Вокруг столба лежал толстый слой мокрого пепла. Дождь превратил его в липкую, грязно-серую жижу, которая пахла едкой гарью и смертью. Люди обходили это место десятой дорогой, прижимаясь спинами к глухим стенам домов, боясь даже бросить случайный взгляд на проклятые камни.

Даже стражники не решались подходить близко. Их сегодня было заметно меньше обычного — многие попросту не вышли на смену, запершись в домах со своими семьями. Те же, кто заступил на дежурство, стояли унылыми кучками, то и дело тревожно вглядываясь в кромку тёмного леса, подступавшего вплотную к крепостным стенам. Лес молчал. Не шелохнулась ни одна ветвь, не прокричала птица. Он стоял монолитной зелёно-чёрной стеной, живой и одновременно чужой, словно гигантский зверь, затаившийся перед решающим прыжком.

На дверях домов проступали знаки.

Не на всех. Только там, где жили те, кто тридцать лет назад держал факелы или стоял в первых рядах зевак, улюлюкая и бросая камни. Первым их увидел сапожник Грегор. Он жил на улице Мясников в доме с покосившейся крышей, где прошла вся его жизнь. Когда он открыл ставни, чтобы впустить утренний свет, пальцы его застыли на деревянной задвижке. На двери его мастерской — на той самой двери, которую он красил три года назад, — чернело дерево. Его дерево. Только корни выросли из него. Тонкие, извивающиеся линии тянулись вниз, к порогу, к земле, как будто кто-то нарисовал их углём, но уголь не стёрся, не смылся, не ушёл.

Грегор стоял на пороге и смотрел. Он не кричал. Он не звал жену. Он просто стоял, чувствуя, как холод поднимается по позвоночнику, как горло сжимается, как ноги становятся ватными. Он узнал этот рисунок. Он видел его раньше — не на двери, не на дереве, а в своём

сне. В том сне, который снился ему каждую ночь последние тридцать лет. Только теперь он был явью.

Он протянул руку, коснулся линии кончиками пальцев. Чёрный цвет не пачкал кожу. Он был частью дерева. Грегор отдёрнул руку, будто обжёгся, и захлопнул ставни. Задвижка щёлкнула с противным лязгом. Жена окликнула его из глубины дома, но он не ответил. Он стоял, прислонившись спиной к холодной стене, и пытался вспомнить, как дышать.

У соседей закричали. Женский голос — высокий, пронзительный, сорвавшийся на истерику. Потом мужской — испуганный, хриплый. Кто-то выбежал на улицу, споткнулся, упал. Кто-то плакал.

Грегор не выходил. Он стоял у стены и смотрел в одну точку. Он знал, что это значит. Он знал, кто это сделал. И он знал, что ничего не сможет изменить.

Самый страшный, немыслимый рисунок вырос на главных городских воротах.

Тяжёлые дубовые створы, окованные толстыми полосами железа, которые не распахивались со дня той казни, теперь словно кричали о неотвратимости. На их тёмной, потрескавшейся от времени древесине проступило гигантское дерево. Его мощные корни оплетали железо, проникали под балки, срастались с самим металлом, создавая иллюзию, будто ворота проросли из подземного царства мёртвых.

Молодой стражник Томас нёс службу у этих ворот с полуночи. Ему было всего двадцать три, спина ныла от холода, в сапогах хлюпала дождевая вода, а в голове билась лишь одна навязчивая мысль — дождаться смены, рухнуть на грубую соломенную постель и проспать сутки. Долгое время он тупо смотрел на тёмные створы, принимая игру теней за обман зрения. Но рассветное солнце, пробившееся сквозь тучи бледным пятном, безжалостно рассеяло иллюзии.

Томас моргнул, чувствуя, как внутри всё сжимается в ледяной комок.

— Что это… — сорвалось с его пересохших губ. — Боги милосердные, что это?!

Он сделал шаг вперёд, забыв про усталость и осторожность. Протянув дрожащую руку, он кончиками пальцев коснулся тёмной поверхности. Кожа ощутила шероховатость старого дерева, но сами линии… они не были нарисованы краской. Они уходили вглубь волокон, будто древесина сама изменила свою структуру. Томас отдёрнул руку, словно обжёгшись о раскалённый уголь.

— Эй! Кто-нибудь! — его голос сорвался на испуганный фальцет. — Сюда! Живо идите сюда!

На крик сбежались остальные стражники. Их было пятеро — двое старых, двое молодых, один средних лет. Они замерли перед воротами, вглядываясь в жуткие сплетения чёрных корней, и никто не осмелился произнести ни звука. Тягостное молчание висело над ними, пока кто-то хрипло не выдохнул:

— Соскребите это. Быстро ножом, топором, чем угодно! Уберите это с глаз!

Они бросились к воротам. В ход пошли грубые скребки, ножи, пучки жёсткой травы. Стражники ожесточённо тёрли дерево до ломоты в суставах, до сдирания кожи на ладонях в кровь, но чёрные линии не поддавались. Они не стирались, не размазывались, не бледнели. Казалось, сама древесина пропиталась этой чернотой изнутри.

Томас смотрел на собственные ладони, густо испачканные чёрным соком, который никак не отмывался с кожи. Он судорожно тёр их о форменную куртку, но грязь въелась намертво.

— Этого не может быть… — шептал парень, чувствуя, как панический ужас подступает к самому горлу. — Я стирал, я изо всех сил тёр, но оно не уходит!

Старый стражник Ульрих, проживший в этом проклятом городе почти шестьдесят лет, тяжело опёрся о древко копья. Лицо его покрылось глубокими морщинами, а в тусклых глазах читалась обречённость.

— Глупец, — тихо произнёс старик. — Ты пытаешься смыть память. Тридцать лет назад я стоял на этом самом месте. Мне было столько же, сколько тебе. Я видел, как её вели на костёр. Я слышал её проклятие. Она обещала вернуться. И вот — она сдержала слово.

Томас отступил на шаг, чувствуя, как ледяной пот катится по спине. Вопросы застряли в горле. Ответа не было.

А по городу уже разносились слухи. Они рождались на углах улиц, у колодцев, в полумраке запертых лавок — и разрастались, как трещины на льду, который вот-вот проломится. Кто-то видел тень у южной стены. Кто-то слышал детский плач из леса. Кто-то клялся, что чёрные корни на дверях шевелятся по ночам.

Страх разрастался, как снежный ком, катящийся с горы, и его уже было не остановить. Город, который тридцать лет жил в тишине, вдруг заговорил. Люди собирались группами у запертых ворот, у колодцев, у дверей собора. Они перешёптывались, оглядываясь через плечо, боясь, что их услышат.

На углу у старого колодца стояли женщины. Их было немного, человек пять или шесть, но они жались друг к другу, как стадо, которое чувствует хищника. Их голоса были тихими, прерывистыми, и они то и дело оглядывались на пустые улицы, на запертые двери, на окна, из-за которых никто не выглядывал.

Ближе всех к каменному срубу стояла бабка Ингрид. Ей перевалило за семьдесят, спина согнулась дугой, руки были покрыты старческими пятнами. Но память её работала безупречно, возвращая в тот самый страшный день.

— Я помню её лицо, — сказала она, и голос её, сухой и ломкий, разнёсся по улице, заставляя женщин замолчать. — Мне было тридцать семь, когда моя младшая дочка сгорела в лихорадке. Три дня я сидела у её постели, видя, как уходит жизнь, и молилась богам, которые были глухи.

Она замолчала. Морщинистые пальцы комкали край платка.

— А потом в дверь постучали… вошла она. Без страха, без упрёка. Принесла сушёные травы, велела отваром поить три дня. И девочка выжила. Моя дочь жива по сей день. У неё свои дети, свой дом. Благодаря той женщине.

Голос Ингрид сорвался на всхлип. Она не плакала — слёзы текли сами, без её воли.

— А они притащили её на площадь. Назвали ведьмой. И сожгли заживо вместе с малышами. Я стояла в толпе. Я видела всё. Я слышала крики детей в огне. И я… я промолчала. Не посмела возразить. Испугалась за себя. Я стояла и смотрела, как убивают ту, что подарила жизнь моему ребенку.

Женщины вокруг замерли, боясь вздохнуть. Кто-то перекрестился. Кто-то опустил глаза.

— Поздно жалеть, — сказала Ингрид, вытирая щёки тыльной стороной ладони. — Она вернулась за нами. Она помнит каждого, кто молча дал ей сгореть. Она помнит, как мы смотрели. И она хочет, чтобы мы помнили.

Она замолчала и снова уставилась в колодец. Женщины стояли рядом, не зная, что сказать.

На торговой площади, у статуи трёх мужей-героев с факелами в каменных руках, стояла женщина. Невысокая, плотная, с тяжёлым взглядом уставших глаз. Она долго смотрела на слова, высеченные на постаменте: «Героям, спасшим город от ведьминой скверны».

— Герои, — выдохнула она сухим, шелестящим голосом. — Какая ложь.

Она подошла вплотную к постаменту, провела широкой ладонью по холодному камню.

— Они убили целительницу. Они сожгли её детей, забили до смерти мужа. А потом воздвигли себе памятники, чтобы заглушить собственный страх. Моя мать рассказывала мне правду. Эта женщина лечила бедных и богатых, не требуя ничего взамен. А мы смотрели, как она горит, и молчали.

Она повернулась к пустой площади. Из окон домов выглядывали бледные лица горожан.

— Она вернулась, — сказала женщина, и голос её дрогнул. — Но она не за нами. Она за той болью, которую мы не дали ей выплакать тогда. Мы стояли и смотрели, как она умирает. Мы не сказали ни слова. Теперь она хочет, чтобы мы увидели. Чтобы мы помнили. И чтобы мы знали, что мы сделали.

Она замолчала, глядя на статую. Потом развернулась и затерялась в лабиринте переулков, оставляя за собой лишь тяжёлое, давящее молчание.

На другой улице старый кузнец вышел из дома с мокрой тряпкой. Он подошёл к своей двери, где чернел корявый знак — дерево с корнями, въевшимися в дерево. Он начал тереть его. Сначала медленно, потом сильнее. Тёр долго, до красноты в пальцах, до боли в плече. Тряпка стала чёрной, но знак не исчезал.

Кузнец выругался — глухо, зло. Швырнул тряпку на землю. Постоял, глядя на дверь. Потом развернулся и ушёл в дом, хлопнув дверью так, что задребезжали стёкла.

Женщина с ребёнком на руках стояла у своего дома, глядя на чёрный знак. Она не пыталась стереть его. Она знала, что это бесполезно. К ней подошла соседка.

— Ты была там?

— Да, — ответила женщина.

— Ты держала факел?

— Нет. Я стояла и смотрела.

— Но ты же ничего не сделала.

— Я ничего не сделала, — повторила женщина. — Я не сказала ни слова. Я стояла и смотрела, как её сжигают. Она лечила мою дочь. За три года до того. Моя дочь умирала, а она пришла и спасла её. А я стояла и смотрела, как её сжигают.

Она замолчала, прижимая ребёнка к груди. Соседка не знала, что сказать.

За окнами смеркалось. Тени становились длиннее. На дверях домов множились знаки — чёрные, глубокие, как шрамы, и серые, бледные, как тени. Никто не знал, что будет завтра. Никто не знал, что делать.

Город ждал.

Леон вышел за ворота на рассвете. Не через главные, конечно — те наглухо заперли на три тяжёлых засова, а их створки покрылись чёрными, въевшимися в древесину корнями, которые не получалось ни соскрести, ни смыть. Леон ускользнул через калитку у южной стены. Стражники забыли запереть её — или просто боялись подходить к ней в темноте. Он не стал гадать. Ему было всё равно.

Он шагнул за стену — и мир перестал быть прежним.

Воздух здесь был другим. Не спёртым, не тяжёлым, не пропитанным гарью и страхом. Холодным, чистым, глубоким. Лёгкие наполнялись до самого дна, и голова шла кругом от свежести, как будто он впервые дышал по-настоящему, как будто всё, что было до этого, было просто судорогой.

Пахло прелой землёй, хвоей, мокрой корой, грибами, которые прятались под мхом. Запахи смешивались в единый древний дух, нетронутый временем. Но сегодня в этом запахе чувствовалось что-то ещё. Сладковато-горький шлейф, напоминающий тлеющий торф, пепел, который сохранил жар спустя много лет после того, как огонь погас. От этого запаха мурашки бежали по коже, а в груди зарождалась тревога — глухая, беспричинная, но настойчивая.

Леон остановился на опушке, там, где мягкий ковёр изумрудного мха сменялся переплетением толстых корней и зарослями папоротника. Влажная земля холодила ступни даже сквозь подошву сапог. Он постоял, прислушиваясь к тишине, которая навалилась на него с той стороны стены.

Он обернулся. Серые городские стены за его спиной выглядели меньше, чем изнутри. Чужими, жалкими, почти игрушечными. За одну ночь лес словно вырос, поднялся выше и сжал каменное кольцо в своих зелёных объятиях. Сквозь просветы между стволами он видел вер-

хушки башен, шпиль собора, дым над крышами. Всё это казалось далёким, почти нереальным, будто он смотрел на чужую жизнь, на чужой мир, который больше не имел к нему отношения.

Глубоко вдохнув, он повернулся спиной к городу и сделал первый шаг в чащу.

Ветви сомкнулись за его плечами — не резко, а медленно, почти нежно, будто лес принимал его, закрывая за ним дверь. Свет стал тусклым, маслянистым, как сквозь толщу мутной воды. Длинные тени лежали на влажной земле причудливыми узорами, и Леон чувствовал их прикосновение. Холодные, невесомые пальцы скользнули по его плечам, по спине, по лицу, словно лес оценивал случайного гостя, проверял, достоин ли он ступать по этой земле.

Он пошёл.

Куда именно — он не знал. Ноги сами находили дорогу, обходя корни и камни, словно знали её лучше него. Он чувствовал, как земля тянет его к себе, как корни под ногами перешёптываются и указывают путь.

Под ногами угадывалась старая, заросшая тропа. Она была почти неразличима — цепкий папоротник, ползучий плющ, влажный мох скрывали её. Но она существовала. Она вела его в самую глубь зелёного лабиринта, туда, где деревья стояли стеной, а корни выступали из земли перекрученными узлами, напоминая руки, тянущиеся к чему-то недосягаемому.

Он шёл недолго — или долго. Время потеряло смысл. Свет не менялся, тени не двигались. Казалось, лес застыл, остановился, затаил дыхание.

И вдруг Леон остановился.

Воздух стал другим. Он сгустился, стал плотнее, будто перед ним была невидимая стена. Тишина стала глубже — не просто отсутствие звуков, а их полное уничтожение. Даже его собственное дыхание исчезло, растворилось в этой пустоте.

Сердце билось ровно, но гулко. Внутри шевелилось что-то — не страх, не любопытство, а что-то третье, чему он не мог дать названия. Он просто знал: это место ждало его. Долго. Намного дольше, чем он предполагал.

Он сделал шаг.

И вдруг — звук. Тонкий, мерный плеск бегущей воды.

Ручей.

В памяти всплыли пожелтевшие страницы старого травника. Он вспомнил, как она шла по этим тропам, собирала травы, шептала обряды, как она касалась коры, как лес отвечал ей. Она шла здесь. Она дышала этим воздухом. Она касалась этих деревьев. И сейчас, когда он стоял здесь, ему казалось, что она всё ещё здесь, что её следы не стёрлись за тридцать лет.

Леон пошёл на звук. Мокрые ветки хлестали по лицу, оставляя царапины. Он не замечал боли. В груди колотилось сердце. Он слышал только плеск воды.

Ручей оказался узким, но бурным. Ледяная вода с шумом катилась по замшелым валунам. Леон замер на берегу.

На противоположном берегу сидела она. Маргарита.

Та самая девушка, что вчера горела на костре. Теперь она сидела неподвижно, обхватив худые колени исцарапанными руками, и уставилась в бегущую воду. Её платье превратилось в лохмотья, на ткани чернели следы сажи и въевшейся грязи. Она застыла живым изваянием, одинокой тенью, слишком долго прождавшей в сырых сумерках.

Леон смотрел на неё и не мог поверить, что она жива. Он видел, как она горела. Он чувствовал жар, который шёл от костра. Он слышал её крик — или то, что должно было быть криком, но не стало им. И теперь она сидела здесь, на камне, и смотрела на воду, как будто ничего не случилось.

— Ты… — выдохнул он, и голос сорвался на хрип. — Ты жива.

Она не шелохнулась. Лишь медленно, словно с трудом, повернула голову. Впалые щёки, бледная, почти прозрачная кожа. На шее и запястьях — глубокие, багровые следы от верёвок.

Но они не кровоточили. Они затягивались прямо на глазах, будто невидимая рука исцеляла её изнутри с пугающей быстротой.

— Да, — прошелестел её голос, сухой и ломкий от долгого молчания. — Она спасла меня.

Леон не двигался. Он стоял на берегу, глядя на неё, и не мог поверить, что она жива. Он видел её в огне. Он слышал её крик. Он чувствовал жар, который шёл от костра. И теперь она сидела здесь, на камне, и смотрела на воду.

— Ты… — сказал он снова, и голос его дрожал. — Ты в порядке?

Она не ответила. Она смотрела на воду, которая бежала по камням. Вода была холодной, прозрачной, и Леон видел, как она касается её ног, как она омывает их, как она уносит что-то, что осталось от костра.

— Я не знаю, — сказала она наконец. — Я не знаю, что такое «в порядке» теперь.

Он пересёк ручей по скользким камням. Ледяная вода хлынула в сапоги, обжигая холодом, но он не остановился. Он подошёл к ней, опустился на колени на мокрый мох. Она не смотрела на него. Она смотрела на воду.

— Что случилось? — спросил он тихо.

— Она пришла, — сказала Маргарита. Голос её был сухим, сломанным. — В огонь. Я умирала. Думала, это конец. А она вошла в пламя. Как будто оно не жгло её.

Она замолчала. Леон видел, как её руки, лежащие на коленях, дрожат. Пальцы были тонкими, с чёрными ногтями. Как уголь. Как земля. Как корни на воротах.

— Она коснулась меня, — продолжала Маргарита. — Её руки были холодными. Мёртвыми. Но я не боялась. Я не могла бояться. Она сказала… она сказала, что я не должна умирать. Что я нужна ей. Что я нужна этому лесу.

Она замолчала. Её дыхание стало прерывистым, неровным. Она сжала пальцы в кулаки так, что костяшки побелели.

— Я видела, — сказала она, и голос её сорвался. — Всё. Её жизнь. Детей. Мужа. Как они умирали. Я видела это как будто своими глазами.

Она замолчала, пытаясь выдохнуть, но воздух застревал в горле. Леон смотрел на неё и не знал, что делать. Он хотел коснуться её плеча, но не решился.

— Она хотела, чтобы я поняла, — сказала Маргарита наконец, когда голос её стал твёрже. — Чтобы я знала. Что она не чудовище. Что она… что она просто хотела, чтобы всё закончилось.

— Что закончилось? — спросил Леон.

— Её боль. Та, что она носила внутри себя. Она не могла избавиться от неё. Она не могла забыть. И она не хотела, чтобы я забыла. Чтобы кто-то забыл.

Она снова замолчала. Вода бежала по камням. Леон сидел на коленях, чувствуя, как мокрый мох холодит колени, как вода стекает по сапогам.

— Она не хочет мести, — сказала Маргарита. — Она просто… она не может жить с этой болью. Она показала мне всё. Своих детей. Своего мужа. Как они умирали. Она хотела, чтобы я поняла. Чтобы я знала, что она не чудовище. Что она просто… что она просто не хочет, чтобы её боль забыли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.